

---

## АНТОЛОГИЯ ПРОЗЫ

**Сергей Овчинников**  
(г. Щекино)



*Родился в 1963 году в Щекино. Окончил рязанский медицинский институт. Публиковался в журналах «Альбом», «Время и мы», «Наша улица», «Родина», «Роман-журнал 21 век», в «Литературной газете». Автор нескольких книг прозы. С 2001 года издает и редактирует литературный альманах «Тула».*

### ТРАНСФОРМАЦИИ

Алексей Иванович Пивоваров — грузный, басовитый, одышливый, когда-то мой сосед, а ныне удачливый столичный бизнесмен, — в сопровождении личного шофера-охранника вышел в наш двор из квартиры матери. Атлантический циклон пролился недавно очередным январским дождем, обнажив посередь сугроба дохлую кошку, мокрые сигаретные пачки, мятую фольгу шоколадки. Пивоваров отвел глаза от раздавленной кошки, скользнул взглядом по давно не крашеной, облупившейся стене трехэтажного дома, поморщился. «Может, дать им деньги на ремонт? Но большинство же скидываться не будет! Ну, и нечего их баловать!»

Пивоваров только что вручил имениннице-матери дорогой стиральный агрегат, отсидел за праздничным столом, повидался с родственниками, теперь направлялся к машине, поглядывая на знакомые с детства лавочки, изрезанный перочинными ножками доминошный стол, опутавшие двор бельевые веревки. Когда-то здесь он играл с девчонками в классики, гонял с мальчишками в футбол, катался на велосипеде. И был счастлив, что самое удивительное! Когда же он был счастливее — тогда, в нищете, или нынче, при внешнем благополучии? «Нищета внутри, а не снаружи, все зависит от самооощущения, дубина», — укорял себя Пивоваров, усаживаясь за руль блестящего лаком черного «Мерседеса». Шофер уселся рядом, на пассажирское кресло. Пивоваров изрядно выпил на дне рождения, но не боялся ГАИ — его машину не останавливали, ведь он был на короткой ноге со всем городским начальством, владея здесь двумя пунктами приема цветного и черного металла, тремя магазинами, аптекой и стоматологическим кабинетом. Но главный офис Пивоварова находился в Москве, там у него был и «пентхауз» на Ленинском проспекте. В «Мерседесе» то и дело гудел зуммер сотовой связи, Пивоваров не отвечал на звонки, ему хотелось продлить

домашнюю расслабленность, сполна вкусить счастливое чувство хозяина жизни, которого не хватало в столице, и которое он смаковал здесь, на родине. Ему было приятно думать, что, при желании, он мог бы купить почти все здесь, и эти люди, его земляки, стали бы его рабами, кланялись бы ему подобострастно,— в России многие любят кланяться,— и он, Леха Пивоваров, поди ж ты, владея ими, царствовал бы грозно и справедливо! Впрочем, нет: деньги сюда вкладывать глупо, эффективнее они работают на бирже, если у тебя хороший маклер. Каждые тридцать минут на дисплее автомобильного компьютера высвечивался номер биржевого агента, шофер, сидя рядом, бубнил, что время поджимает и нужно ехать, а Пивоваров медлил, вел машину по темным улочкам, поражаясь их тесноте и запущенности. Как он мог раньше жить здесь и быть счастливым? Удивительны дела твои, Господи!

Пивоваров миновал центральную площадь с бронзовым Ильичем (с удовольствием сдал бы его в металлолом, Ленин потянет на пару тысяч долларов, и эти деньги можно красиво отдать детскому дому, символично бы получилось), Дом пионеров, где на бетонном постаменте кургузо топорщил крылья самолет-истребитель из прошлого века. Пивоваров давно предлагал пионерскому директору отдать крылатое ископаемое в металлолом, но тот пока кочевряжился. Подкатив к маленькой церкви на окраине города, Пивоваров остановился, выпростал свое тело из машины, чтобы походить у общежития, в котором прожил восемь лет. Через пять минут, отхлебнув коньяк из украшенной вензелями бутылки, напоследок решил взглянуть на стадион, с которым были связаны особые воспоминания. Пивоваров оглядел ржавые, советские осветительные мачты, которые он оценил в десять тысяч долларов, и вдруг ошалело увидел знакомую машину — старенькую «Ауди». Постаревшие бегуны из прошлого века мерили трусцой растрескавшуюся асфальтовую дорожку. Небо точно сгустилось над ними, Пивоварову стало душно, алкоголь бросился в голову, он перестал контролировать свои поступки. Сопя от напряжения, краем сознания понимая странность происходящего, Пивоваров залез на капот «Ауди», начиная здесь, под крики бегущих к нему людей, воинственный танец победителя жизни. Когда изумленной публики вокруг машины стало достаточно для его самолюбия, Пивоваров бросил на вмятины истоптанного капота несколько стодолларовых купюр.

— Помнишь мою собачку, с такими длинными ушами?! Помнишь?! — спросил он у кричащей что-то пожилой женщины, хозяйки машины.— Она единственная меня любила!

Пивоваров сел в «Мерседес» на заднее сиденье, шофер подвинул водительское кресло ближе к рулю, чтобы не мешать хозяину, машина рванула с места. Водитель обернулся на перекрестке:

— Иваныч, ты че озверел-то?! Че тебе эти ханурики сделали?

Пивоваров не отвечал. Он лег на сиденье машины лицом вниз, снял ботинки, поджал под себя ноги, уткнул голову в согнутый локоть и заплакал. Прижимаясь к дороге, «Мерседес» стремительно и мощно влек его к русскому Вавилону, каменным хаосом встающему на северном горизонте.

Восемь лет назад в родном городке был октябрь, вечерние улицы блестели от грязи — вездесущей, жирной, черноземистой. В осеннем тумане звуки были приглушены, сквозь белую мглу виднелись корпуса полуразрушенных заводов. Город едва дышал; заказов на кирпич было мало, лишь изредка приходили машины из областного центра, там еще кипела жизнь, и многие строились. Рядом с заводской проходной все так же нелепо торчало здание общежития в пять этажей, когда-то наскоро собранное из серых бетонных плит. В нем, кроме заводских рабочих, так и не скопивших на отдельную квартиру, ютились беженцы из Армении, Узбекистана, Чечни. Их множество появилось, несчастных, после распада Союза. Улицы возле заводской

проходной когда-то считались неудобными для жилья. Из-за кирпичной пыли домов поблизости не строили — только заводской стадион, пожарное депо, пакгаузы лежащей рядом железной дороги. Но теперь пыль исчезла, и улицы зажили своей, отдельной от завода, жизнью. Гаражи для пожарных машин приезжий священник перестроил в церковь. Заново перекрытые стены увенчались куполом и крестом, появился алтарь, на глазах выросла колокольня. Все вокруг казалось теперь уютнее, светлее, чище. К церкви потянулись машины из других частей города и окрестных деревень, спешили на утреннюю и вечернюю службу прихожане. И вот уже за церковью известная фирма заложила фундамент престижного дома. Полуразрушенный стадион — беговая асфальтовая дорожка, из трещин которой давно пробилась зелень лишайника, растащенные на кирпич и доски зрительские трибуны, украденный забор,— начали восстанавливать.

К стадиону и отправился выгулять собаку Леша Пивоваров, инженер многострадального кирпичного производства. Он жил в общежитии уже несколько лет, устроившись на завод сразу после армейской службы. Его любимым развлечением была охота, и потому в семье жила сука ирландского сеттера — Милка. Леша в тот вечер, как всегда, съел яичницу, повздорил с женой Лидой, которая была недовольна жизнью, посвистал Милку, взял в ближайшем ларьке пластиковую бутылку дешевого пива. Быстро темнело. Милка, встряхивая ушами, носилась по влажному футбольному полю. Освещая Лешу фарами, на стадион въезжали иномарки братков, под трибунами был устроен спортивный зал, где эти крепкие парни тягали железо. Леша специально приходил сюда в темноте, чтобы не мешать дневным бегунам — школьникам, спортсменам и «новым русским», которые сбрасывали здесь лишние килограммы. «Новыми русскими» Леша называл всех, у кого были иноземные машины. Честным трудом, считал он, заработать на блага нынешней жизни в маленьком городе невозможно. Для этого нужно быть чиновником, вором или спекулянтом. Леша заочно учился в университете, любил читать и недавно узнал, что Лютер, основатель протестантизма в Германии, тоже считал торговлю воровством. «Правильный был мужик! — восхищался Леша.— Но и чиновник не лучше торговца или вора. Он суть вымогатель, рэкетир, наживается на несчастьях маленького человека! Нормальный человек беден по определению!» У Леша на этот счет имелась целая философия. Человек, мол, должен быть бедным, потому что земля маленькая, а едоков много. Значит, нужно вести себя скромно, жить потеснее, чтобы всем места хватило, не так как эти богатые — все себе захапуют, а другим ничего не остается! Леша, в глубине души, порой даже гордился тем, что беден.

Пока он размышлял так, на стадион явились знакомые богатеи, приехали на своей новенькой «Ауди». Эти «новые русские» особенно раздражали Лешу из-за того, что всегда являлись в *его* время: похожий на мальчишку худенький мужичок и его ухоженная, с гладкой кожей, бабенка. Они резво нарезали круги, тихо переговариваясь, а Леша злился. Отработать бы им смену на заводе, уж бегать не захочется! Страна гибнет, а они вон какие сытые, розовые — смотреть противно! А Леша никогда не был благополучным. От нервов и тягот жизни у него сероватый цвет лица, худоба, как у лося зимой, которого долго гнали по болотам охотники. А эти, бляха, какие чистенькие! Если засиделся — поработай руками, землю копай, а не носись, как собака! Дармоеды проклятые! Так, мысленно ругаясь, Леша давал Милке все новые команды, заставляя искать брошенную в темноту игрушку или нести палку. И тут Милка, оказавшись рядом с пробегающими, от хорошего настроения азартно взлаяла на них, радостно взмахивая ушами. Бабенка взвизгнула, остановилась и заорала, уставив руки в бока:

— Убери собаку! Здесь люди бегают! Уже не первый раз я тебе говорю! Ты что, не слышишь?!

Леша молчал, расслабленный пивом, но баба не унималась.

— Развели собак, людям скоро пройти нельзя будет!

У Леша внутри поднималась злость. А почему он должен уходить?! Они и так уже захватили все вокруг, скоро и дышать нельзя будет!

— Не умеешь справиться со своей шавкой, гуляй в другом месте! — продолжала скандалистка. Тут она перегнула палку. Милка была породистой охотничьей собакой, Леша ею гордился.

— Она не шавка, это ты шавка! — крикнул он, уязвленный.

Тут «новая русская» еще более воспламенилась и завизжала, поглядывая на невозмутимо пробегающего мимо тщедушного супруга:

— Завтра мы приедем с ружьем! Будем стрелять по твоей собаке! И любой суд нас оправдает! Ты находишься на стадионе и мешаешь нам бегать!

— Ружье у меня тоже есть, — сказал, ухмыляясь, Леша. — Ходить нужно, а не бегать!

— И еще пить, как ты! — взвилась баба.

Леша молча смотрел на ее маленькие грудки под свитером, на ее стройные ноги, и представлял, как валит ее наземь, срывает с нее одежду, поворачивает к себе спиной...

— Ты же совсем спился! Потому и собака тебя не слушает!

— Да что тебе далась моя собака?! — не выдержал снова Леша. — Ты сама хуже любой собаки!

— Ну, все, доигрался! Завтра мы приедем с ружьем, будем стрелять! — крикнула баба, и побежала по кругу, как маленькая злая пони. Милка, не понимая смысла разговора, смотрела ей вслед, склонив набок голову и свесив уши.

Леша походил еще немного, чтобы не показать, что он испугался, и побрел домой. Пивной хмель от злости весь выветрился, мысли у Леша были такие, что самому страшно делалось. С ним происходило что-то непонятное: земля под ним точно зашевелилась, и нечто тягостное, липкое, темное вселилось в него. Леша ощутил в себе небывалую прежде решительность. Он взял дома ружье и пошел с Милкой к стадиону. Взвел курок, зарядив ружье крупной дробью, когда осенило: «Этим же, дурак, ничего не изменишь! Меня просто посадят, и все кончится! С ними нужно бороться их же оружием!» Лешу точно по голове обухом ударили: он понял, что с инстинктами человеческими ничего сделать нельзя — мальчишки играют в царя горы, а вырастая, продолжают эту игру, только по другим правилам. В детстве платой за победу был разбитый нос, а во взрослой жизни ставки больше, иной раз приходится идти по трупам. Леша сейчас в самом низу горы жизни, он чувствует себя проигравшим и старается найти оправдание своему поражению, только и всего. Леша решил — если так, он будет играть по их правилам! Тем более, что ума особого для этого не надо! Леша уже знал, как он заработает первые деньги. Ведь почти все начальные капиталы украдены! Это закон рынка! Леша будет продавать срезанные на кладбище памятники и могильные ограды из нержавеющей стали! С ломом и ножовкой по металлу пойдет ночью на кладбище, выберет памятник; вокруг тихо, разграбленный домик сторожа зияет пустыми оконными проемами, на могилах тут и там копошатся гробокопатели... Леша представил, как он вывернет ломом мраморную плиту — ее он сдаст в кооператив по изготовлению памятников, мрамор отшлифуют и продадут новым клиентам, — как понесет могильную оградку из нержавеющей стали в пункт приема ценных металлов, и его вырвало в придорожные кусты. Но Леша отдышался, утерся и стал думать дальше. Через год у него будет собственный вагончик для приема металлов, он свяжется с дальним родственником, который живет в Риге, — тот говорил что-то про знакомого полковника на таможне, — и в Ригу, Клайпеду повезут десятитонными грузовиками провода, снятые в заброшенных властью деревнях, алюминиевые кастрюли, бидоны, остовы украденных на огородах теплиц, дета-

ли станков, которые не нужны больше в России. Ведь русские люди сами разбирают свои заводы и шахты, чтобы сдать оборудование в металлолом, Леша за последние годы видел много разрушенных предприятий и шахтоуправлений. Чуть позже можно будет принимать и черный металл. Половина колхозов развалилось, на их полях гниет брошенная сельхозтехника. Хорошо бы купить газовый резак, чтобы не пропадали еще трубопроводы, газопроводы в деревнях. Они себе еще раз газ проведут. А вырученные деньги вкладывать в магазины, торгующие пивом и водкой! Открывать эти магазины выгоднее всего рядом с парком, где любит гулять молодежь. Они ведь все равно не представляют себе другого отдыха, кроме как с бутылкой пива в руке. Отдыхать удобно будет в Риге, чтобы заодно увидиться с компаньонами. В Латвии есть Юрмала, Сигулда, красивые латышские проститутки, европейский сервис. Жену себе Леша тоже решил поменять; он возьмет себе красивую, молодую, не то, что эта росяха Лидочка...

В голове у Леши как-то разом все прояснилось, но что-то мешало, сдерживало. Не понимая, он повертел головой, задыхаясь от решимости. Нужно было сделать что-то, начиная новую жизнь, сделать такое, что не позволило бы вернуться в прежнее состояние. И он вдруг понял, взглянув на Милку, которая семенила рядом с ним, заглядывая в глаза. Леша остановился, подумал и выстрелил в Милку. Она была из старой жизни, а все, что было раньше, Леша теперь ненавидел. Стон умирающей собаки, которая, истекая кровью, ползла к нему, чтобы лизать его руки, до сих пор звучит в ушах Пивоварова.

## АНГЕЛ

Я набрал номер ее телефона и сказал будничным голосом:

— Здравствуй, это Катя?

— Да, а кто это? — ее голос, даже измененный трубкой, был колокольчиковым. «Наверное, она красива, — подумал я. — Голос и внешность как-то связаны».

— Вы меня еще не знаете, но это не важно, — начал я, представляя, как она сейчас испугается. — Я должен сообщить вам очень важную информацию, от которой зависит ваша жизнь или смерть. Вы хотите увидеться, или мне сказать вам по телефону?

— По телефону.

— Вы читали книгу «Мастер и Маргарита»?

— Читала.

— Верите в Бога?

Она молчала.

— Меня попросили сказать вам, что вы в опасности. Сходите в церковь и помолитесь, чтобы Господь сохранил вам жизнь. Иначе умрете молодой, в страшных мучениях. «Самое главное, это правда, — подумал я в свое оправдание. — От СПИДа люди умирают именно так. Если она будет спать с кем попало, допрыгается и до СПИДа».

— И кто вас попросил мне сказать это?

— За вами наблюдают, Катя. И для начала вам посылают это предупреждение: вы больны сифилисом. Если не верите, сходите в больницу, сдайте анализы.

— Кто вы?

— Ваш добрый ангел...

Отключил телефон, я улыбнулся, с нее было достаточно. Я всегда любил розыгрыши и мистификации, а здесь это было нужно для дела. Ее телефон дал мне постоянного клиента, у которого недавно вновь обнаружилось привычное заболевание. Он был чрезвычайно любвеобилен, сифилис лечил уже в третий раз, не считая гонореи, хламидиоза, герпеса. Он и сейчас приходили на уколы, а Катя, с его слов, была «мо-

лоденькой дурочкой», тульской студенткой, с которой он познакомился где-то на улице. Ей было скучно, наверное, она отдалась ему прямо в машине, и теперь гуляка стеснялся сказать ей о болезни.

Через три дня телефон зазвонил вновь. Успев позабыть про наш разговор, я не сразу понял, кто спрашивает:

— Мы могли бы с вами встретиться? У вас есть человеческое тело?

Несколько секунд понадобилось, чтобы отключиться от работы. На кресле возле меня сидела раздетая женщина, в одной руке я держал гинекологическое зеркало, в другой — тампон с жидким азотом, говорил в укрепленный на воротнике микрофон сотового телефона.

— Я могу принимать любой облик. Но, чтобы не пугать вас, буду выглядеть как мужчина средних лет, среднего роста, одним словом, как обычный мужчина. Устроит?

Моя пациентка, испуганно поджав ноги, удивленно глядела на меня. Я подмигнул ей и успокаивающе похлопал по коленке.

— Да, конечно. Где мы увидимся? — спросила Катя по телефону.

— Давайте в субботу, часов в 11, в центральном парке у карусели «Ромашка». Я буду ждать вас на лавочке с газетой «Комсомольская правда».

— Не пугайтесь, это ребенок, девочка, — сказал я пациентке. — Она большая фантазерка.

В субботу я соврал жене, что мне нужно на заседание Союза писателей, и поехал в Тулу. Сидя на лавочке, поглядывал на людей. Они были вкусны для меня, как натура для художника, и почему-то было жаль их, думалось о скоротечности жизни. Мне понравилась фактура бредущего мимо нищего, захотелось описать его, нужно было достать блокнот. На самом деле внешность обманчива, думал я, потому что сам, иногда, отправляюсь путешествовать без денег — они защищают, точно кожура, а мне иногда хочется воспринимать мир голой кожей, не защищенной машиной, домом, служебным положением, родственниками, друзьями... Сколько я узнал добрых людей, которые помогали мне просто так, не из-за выгоды! Иногда я высылал им после небольшие подарки, представляя их изумление. Странно, наверное, получить часы или кожаную сумочку от бомжа, которого они когда-то пожалели. На самом деле худоба моя от специальной диеты, а одежда была чистая, дыры на ней делал знакомый дизайнер.

— Здравствуйте, — прозвенела колокольчиком незнакомая девушка, присев рядом. У нее были веснушчатые щеки, карие глаза и светло русые волосы. Она не показала мне очень красивой, но шарм в ней присутствовал, и явно сквозила душа, я сразу понял, что не зря приехал, что девушка не безнадежна.

— Здравствуйте, Катя, — сказал я приглушенным голосом прорицателя. — В анализе четыре креста?

— Вы и вправду ангел? — Катя смотрела на меня так, точно я вынырнул из ее детской сказки и сейчас, обернувшись через себя, уползу ящерицей.

— Хотите, я растворюсь в воздухе, или превращусь в саблезубого тигра?

— Разве ангелы должны превращаться в тигров? Ангелы ведь добрые!

— Вы правы, — нужно было соответствовать образу, я вдруг понял, как это сложно.

— Вы все знаете про меня? — спросила Катя, покраснев.

— Да, Катя, вы себя вели ужасно! Так нельзя!

— Да, да, я точно сошла с ума! Мне сейчас так плохо, что было все равно с кем! Когда я делаю это, мне становится чуть легче!

Мне хотелось спросить ее многое, но я боялся выдать себя.

— Как думаете, почему вам плохо, Катя? — нашел я выход из положения.

— Не знаю...

— Вы живете неправильно! На самом деле жизнь — очень серьезная штука. И прежде чем совершить поступок, нужно крепко подумать. Секс и любовь — серьезные вещи. Нельзя это делать с кем попало, иначе погибнете. Дайте мне слово, что будете относиться к этому серьезнее!

— Ладно, ладно! — махнула рукой Катя и задумалась. — Как странно знать, что за тобой наблюдают... А что меня ждет впереди?

— Судьбу вам знать не положено, — сказал я. — Вдруг вы решите противиться ей, или упадете духом от предстоящих испытаний? Этим вы внесете путаницу в небесную канцелярию. Единственное, что могу сказать: вы еще будете счастливы (она смотрела на меня восхищенными глазами), но не очень долго. Человек не создан для счастья, как птица для полета, — здесь, на земле, человека испытывают! Что он выберет: добро или зло? Только здесь люди обладают свободой воли. Там, в небесных сферах, люди уже не имеют возможности выбирать.

— А как там, в вашем мире?

— Там прекрасно! Да и здесь хорошо, если жить правильно. Не делать зла, стараться любить и помогать друг другу. Все человеческие проблемы — от нарушения правил общежития на планете! Эти правила даны человечеству больше чем две тысячи лет назад, но люди так и не научились ими пользоваться. Будьте впредь осторожны. Помните, что за каждый поступок вам придется давать ответ.

— А любовь? Там есть любовь?

«Я сам бы хотел знать, — подумал я. — Неужели там нет любви? Это было бы страшно!»

— Конечно, есть, — сказал я, — огромная любовь, которая наполняет пространство. И ты купаешься в ней, растворяешься, блаженствуешь. Но для того, чтобы любить, душа должна потрудиться. Помните, у Заболоцкого: «Душа обязана трудиться и день и ночь!»

— Я не читала...

— Через неделю я позвоню вам. Обязательно прочитайте стихи Заболоцкого. Хорошо?

— Вы можете сейчас взлететь?

— А что подумают люди?

— Ну, пожалуйста!

— Нельзя мне, я на работе!

— А почему, вообще, мужчины такие жестокие? — неожиданно спросила она.

— От глупости, плохого воспитания, одиночества. Мужчины вечно к чему-то стремятся, они встроены в общественную иерархию, конкурируют между собой, доказывая, кто главный. Женщина может расплакаться, быть слабой, а мужчина не позволяет себе слабости! Он должен состояться на работе, быть на уровне в сексе, должен обеспечить высокий уровень жизни своей семье! Обычные человеческие глупости.

Я посадил Катю в трамвай и тоже решил проехать одну остановку — поближе к своей машине.

— Передайте деньги на билет, — сказал я стоящей впереди старушке.

— А волшебное слово? — сурово посмотрела она.

— Краблетраблбумс, — невозмутимо ответил я, и старушка, пораженная, понесла деньги к вожатой трамвая, подумав, видимо, что имеет дело с сумасшедшим.

Когда я выходил, Катюша помахала рукой на прощание. Мне было грустно и весело, сам не знаю почему.



**Вячеслав Михайлов**  
(г. Тула)

## ДУЭЛЬ НА ТВ



*Вячеслав Викторович родился в 1961 году в городе Термезе. Окончил Московский гидромелиоративный институт. Кандидат экономических наук. Опубликовано более сорока научных работ, несколько очерков, стихов. Печатался в сборнике «Иван-озеро» (2010). Проживает в городе Туле.*

Заканчивались последние приготовления телевизионной студии к записи шоу «Дуэль на ТВ».

Шло оно на экране уже несколько лет раз в две недели и пользовалось большой популярностью. Дуэлянтами выступали известные депутаты Госдумы и политологи, писатели и экономисты, бизнесмены и оппозиционные политики, режиссеры и юристы. Поводом для дуэли служило непримиримое разногласие по какому-либо злободневному вопросу общественной жизни. Начиналась действо с показа отснятой заранее завязки, где один будущий дуэлянт предъявлял обвинение другому и требовал за неправильное мнение сатисфакции. Тот с важным видом принимал вызов и затем уже соперники представляли перед телезрителями у импровизированного барьера на расстоянии двух метров друг против друга, в окружении немногочисленной публики. Сама дуэль проходила в форме дебатов. Бросивший вызов в течение трех раундов отстаивал состоятельность своего обвинения, а поднявший перчатку, в свою очередь или опережая ее, старался доказать обратное, растолковать и защитить свою позицию. Управлял всем постоянный ведущий шоу, маститый журналист Станислав Берков. В первом раунде дуэлянты дрались один на один, во втором им помогали секунданты, а в третьем они отбивались от ведущего. Но шоумен своего раунда не дожидаясь, с самого начала вступал в полемику с дуэлянтами, комментировал их выступления, задирали секундантов, когда жара на дуэльной площадке не доставало, ловко раздувал огонь. В запале и ему иногда перепало от дерущихся. Стас был активнейшим участником теледуэли не в пример распорядителю ее смертоносной праматери. Соперники частенько отклонялись от первоначального предмета дуэльного спора. Ведущий принуждал их к возврату, но если отступление обостряло процесс, особо не настаивал. Многие дуэлянты заранее отыскивали темные пятна в прошлом соперника и в удобный момент вбрасывали такую информацию, чтобы смутить его, сбить с толку. Каждый раунд и поединок в целом оценивали поочередно четверо судей. Но окончательное решение выносили к концу программы телезрители при помощи телефонных звонков и SMS-сообщений. Присутствие же судей оправдывалось тем, что они объясняли свои предпочтения, разноцветили полемику, могли повлиять на зрительский выбор. Потому и на их роли завлекались люди известные, сведущие и языкастые.

В этот раз к барьеру вышли Борис Семенович Злоткин и Владимир Егорович



Пестров.

Злоткин — политический ветеран, несмотря на свои сорок пять с хвостиком, лидер партии, имеющей свою хоть и маленькую, но давно и прочно осевшую в Госдуме России фракцию, многократный победитель теледуэли. Именно к нему привязался избиратель, а не к партии; в программе и лозунгах ее переплелись провозглашаемые устремления, пожалуй, всех основных политических сил страны. Импонировали доходчивость Злоткина, неизменный петушиный настрой во всех предвыборных баталиях, в перерывах между ними, и даже свойство временами срываться — шумно гульнуть, разругаться.

В студии Борис Семенович появился в сопровождении двух массивных, рослых телохранителей. Разместились они среди зрителей, недалеко от своего шефа.

Пестров, дородный мужчина не намного моложе своего соперника, числился в обновленной верхушке либеральной партии. Растеряв за последние годы своих избирателей и влияние на власть в стране, недавно еще решающее, либералы всячески стремились поправить положение. Не упустили и случая засветиться на ТВ.

Секундантами Злоткина и Пестрова выступали товарищи по партии, а судейскую коллегию составили политолог, музыкальный продюсер, адвокат и журналист.

И вот, прозвучал гонг — первый раунд начался.

Пестров корил Злоткина за двойные стандарты, приводил в пример голосование его фракции по годовому бюджету. «Вы так резко критиковали многие статьи бюджета,— заявлял он,— а когда до принятия решения дошло, поддержали его друженько в целом, хотя ни одной вашей поправки большинство не приняло. Где ж ваша принципиальность, которой вы бахвалитесь любите?!»

Злоткин смеялся в ответ и обвинял противника в подтасовке фактов. Говорил, что на самом деле несколько предложений его партии учли. «Вы не в курсе — в парламенте то вас нет, не имеете достоверной информации,— разяснял Борис Семенович.— И выдумываете — не впервой... Как не крутитесь, в Думу вам не вернуться. Кто теперь поверит вашим басням? Разбазарили полстраны, сбережения стариковские умыкнули, все ослабили, что могли: и армию, и ВПК, и здравоохранение. Из сил выбьешься перечислять... Смеет еще оценки моральные давать!.. Про двойные стандарты толкует, наивный. Да, пусть и тройные будут, хоть пятерные — лишь бы стране на пользу, народу».

Пестров откшивался от упреков в прошлых бедах, напоминал, что недавно в рядах либеральных, пытался подпереть свои обвинения доказательствами. Но Злоткин, бывалый поединщик, то и дело прерывал его, и продолжал наседавать. Пестрову удавалось внятно контратаковать только при помощи Стаса. И один болезненный укол ему-таки удался к концу первого раунда, хотя в студии мало кто его выделил. Пестров шуточно признал, что напрасно винил Злоткина за неприципиальность. «Немудрено ошибиться,— сказал он,— принципы ваши так подвижны и переменчивы! Уловить их — дохлый номер».

Реакцию депутата на это трудно было предсказать, даже принимая в расчет его имидж. Борис Семенович побагровел и стал выкрикивать с секундными интервалами оскорбления: «Подонок!!! Ты лжец!!! Подлец!!!» Студия оторопела. Пестров в смутении топтался у барьера, не в силах что-либо произнести и сдвинуться с места; глядел растерянно то на разбушевавшегося Злоткина, то на Стаса, словно спрашивая ведущего: «Что вообще происходит? Почему эта козлина обзывает меня последними словами?»

Ошеломленный поначалу, как и все, Стас быстро очнулся и стал увещевать Злоткина, подав рукой знак Пестрову: «Сейчас разберемся». Но Злоткин не останавливался и в обход Беркова опять хлестал соперника, повторяя ругательства и добавляя новые: «Подонок!!! Негодяй!!! Ты — тварь!!!» Мало того, обернувшись к

своим охранникам, властно потребовал: «Бойцы, ну-ка вон отсюда этого подлеца». Те с готовностью поднялись. Берков с трудом усадил их обратно, угрожая вызвать местную охрану.

Пестров немного оживился. Он несколько раз иронично ухмыльнулся, пытаясь изобразить свое отношение к происходящему, как к некому грубоватому фарсу. Затем все же возмутился вслух хамским поведением Злоткина и даже пробормотал: «Морду ему, что ли, набить?» Но полувопрос этот прозвучал так тихо и натужно, что ясно было — никаких действий вслед за ним не будет.

Раздался гонг, возвещающий об окончании первого раунда. Стас увлек дуэлянтов в соседнее со студией помещение; предупредительно шел между ними, не переставая успокаивать Пестрова и одергивать Злоткина, воинственно жестикулирующего.

В студии началось шушукание: обсуждали событие и гадали — что же будет дальше.

Судья-журналист по имени Павел и фамилии Пашня, главный производитель биографических очерков в модном журнале, впечатлениями ни с кем не обменивался, а сидел с унылым видом и думал о том, что черт дернул его согласиться на это событие. «Мог ведь отказаться,— злился он.— Нет, поперся — по телику покажут, как же; Берков сам позвонил, польстил!.. Вляпался».

После первых же бранных выкриков Злоткина сердце Павла часто заколотилось, забыл он враз о своей неприязни к либералам и больше всего в тот момент хотел, чтобы Пестров вмазал обидчику. «Ну же, сделай это, не стой, как овца»,— внушал ему мысленно Пашня. А потом, видя, как смиренно Пестров ловит и складывает за пазуху оскорбления, спрашивал его с горечью про себя: «Зачем ты, бедолага, слабак, вышел на эту драку?! Не твое это, не твое».

Теперь Павел очень надеялся, что дуэль расстроится, не придется в ней дальше участвовать.

Ведущий и дуэлянты вернулись в студию минут через пять. Злоткин шествовал победителем, всем видом своим показывая, что ничуть не раскаивается. И Пестров силился выглядеть бодряком.

Стас объявил, что, несмотря на случившееся, соперники согласились продолжить поединок, поскольку защищают не только свои позиции, но представляют также взгляды определенных общественных групп. Он предложил судейской коллегии оценить раунд, по возможности не учитывая его концовку.

И шоу двинулось дальше. Судьи дисциплинированно принялись за дело. Пашне предстояло огласить и пояснить свой выбор последним. Он нервно елозил на стуле, напряженно вслушивался в слова своих шоу-коллег, несколько раз оборачивался и задерживал взгляд на публике. Один из судей проголосовал в пользу Злоткина, двое — за Пестрова, как ни курьезно это выглядело. Борис Семенович снисходительно и надменно улыбался голосованию за Пестрова, давая понять, что в итоговом решении телезрителей он не сомневается.

Пашня уже перестал дергаться, ожидал своего выхода. Настал и его черед.

— Трагикомичная у нас история выходит,— хмуро усмехнулся Павел, поднявшись.— На реальной дуэли все оказывались, чтобы честь отстоять, сберечь: соперники, рискуя жизнью поплатиться, секунданты и врач — за решетку угодить или в опалу. А мы здесь собрались, чтобы всем скопом свою честь опорочить, не рискуя почти ничем. Боже мой!

В съемочной студии, где непременно присутствовал легкий гул от реплик и перешептываний, стало совсем тихо.

— О чем вы говорите? — перебил Пашню Злоткин,— ваше дело не о дуэли и чести разглагольствовать, а раунд оценить. Скажите решение свое и не мешайте. Стас, что за самодеятельность?

— Сейчас скажу, — грубо рыкнул Павел, — и не вступайте, моя теперь очередь... По поводу чести опороченной. Что Пестрова это касается, комментарии, как говорится, излишни. Второй по счету — Злоткин. Я за то, чтобы подлеца называть подльцом. И симпатий к Пестрову не испытываю. Скорее наоборот. Но вы его многократно оскорбили фактически ни за что. Он вас так же поддел, как на этой программе все соперники стараются. И вы — первый. «Храбрец», когда за спиной два амбала! Третий — Стас. Как ты мог продолжить, когда Злоткин не извинился, не покаялся, да еще и вернулся к барьеру этаким цезарем, триумфатором!? Ты решил или командиры твои — я вас не разделяю. Bravo! Как же, скандал — всегда в актив шоу, даже если он — мерзкая демонстрация безнаказанного унижения... Остальные тоже хороши: секунданты, судьи, вся студия. Сглотнули, прикинулись, что ничего особенно неприличного не произошло. Стали дальше спектаклю играть. И я сидел, поджав хвост, — ждал, когда осудит кто-нибудь, возмутится... Теперь можете меня распинать.

Пестров слушал Пашню, сгорбившись и вцепившись крепко в барьерную перекладину. А Злоткин, багровевший все больше, и больше пока говорил Павел, взорвался.

— Мучеником себя возомнил! — рявкнул Борис Семенович. — Стас, что мелет эта твоя зябь или пашня?! Откуда вы его взяли? Подсадную утку заготовили?! Да, ты, писака, еще больший клеветник и негодяй, чем этот либерал! — выпалил он Павлу в лицо. — Ребята! — махнул рукой Злоткин своим лбам — охранникам. — Хватай за шкирку! Вон его, и можете пристрелить!

— Чего я и ждал, — удовлетворенно прошипел Пашня, договаривая слова уже на подлете к Злоткину.

Пять шагов — не расстояние для выпущенной на волю ярости. Кулак Павла врезался в нос депутата, несмотря на попытку того уклониться и верный претендент на победу в этой теледуэли рухнул у барьера лицом вниз. Пашня стал хватать его за плечо, чтобы приподнять и добавить. Но получил тяжелый удар в правое ухо от подоспевшего злоткинского амбала и отлетел под свой стол, едва не подломив ему ножки. В голове стоял шум, в ушах — звон и с первой попытки подняться Павел не сумел. Следующую прервали новые удары — в бок и спину. Их нанес уже второй амбал Злоткина.

Борис Семенович сразу вскочил на ноги, увидев подмогу. Придерживая разбитый и кровоточащий нос, он рванулся к поверженному Пашне и несколько раз пнул его, оттолкнув своего телохранителя.

Стас, громко призывая охрану телеканала в студию, бросился оттащить Злоткина и его охранников от Пашни. Ему плохо это удавалось — нападавшие не отставали, пытаясь добраться до Павла то с одной, то с другой стороны. А перепачканный кровью Злоткин еще и честил всех подряд: Пашню — известно за что, телохранителей — за опоздание, Стаса — за коварство, студию — за то, что стала свидетелем происшедшего. Кричал, что теперь будет сорвана его пресс-конференция, запланированная на завтра — как на ней появляться с распухшим носом. Требовал от Беркова и организаторов шоу пресечь утечку информации об инциденте.

Тут Павел, все еще находясь на полу, услышал чей-то громкий возглас: «Пашня, держись!» Рядом усилилась возня, послышались новые порывистые вздохи и выдохи, раздались звуки ударов, падавших уже не на него. Приподняв голову, Павел увидел, как несколько крепких мужиков, по-видимому, из публики, налетели на злоткинских телохранителей. Те стали отбиваться, оставив Пашню в покое. Захрустели сломанные стулья. На подкрепление к своим пришли секунданты Злоткина. Разгорелась жесткая потасовка, вобравшая в себя и Павла. Он уже очухался после нокдауна и с дикими воплями «мочи их», «вырубай» насакивал на злоткинцев. Верещали женщины, требуя милицию и ФСБ. Часть зрителей выскользнула из студии. Исчез незаметно и Пестров.

Борис Семенович под прикрытием телохранителей и при помощи их толчков тоже стал продвигаться к выходу, посылая теперь проклятия телеканалу, неспособному организовать нормальную работу и защитить VIP-персон. Появилась, наконец, местная охрана и принялась вместе со Стасом разнимать дерущихся. Злоткин и его компания продолжали движение к студийным дверям и через минуту скрылись за ними.

С уходом депутата студия утихла. Взлохмаченный Стас извинился перед оставшимися и обещал связаться, как только обстановка прояснится. Потом пошел провожать их. Вопросами его не донимали, расходились молча.

Поддержавшие Пашню мужики теперь помогали ему отряхнуться. «Молоток, Паша,— одобрительно похлопал по плечу один из них,— выручил».

— Вы — молодцы,— похвалил их в ответ Павел, ощупывая раздувшееся ухо и болезненно морщась.

— Мы трогаемся. Может подбросить?

— Не беспокойтесь, я на колесах.

— Если понадобится, вот визитка.

Попрощавшись, удалились и они.

Вернулся Стас, оглядел с головы до ног Пашню. Тот широко улыбался ему, сверкая красным ухом.

— Сорвал съемку и рад, честолюбец,— криво усмехнулся все еще возбужденный Берков.— Теперь на этой дуэли можно ставить крест. Придется другую готовить, да расхлебывать заварушку... Ладно — не в первый раз, и не в последний... Слушай, ты так складно речь свою толкал разоблачающую. Не заранее ее набросал?

— Не придумывай,— отмахнулся Пашня и, довольный, добавил, потирая грудь: «Эх, давно так хорошо не было на душе».

— Не зря мне говорили, что ты — романтик безбашенный. Но мыслишь прямолинейно. Вот завалил ты поединок и не увидят теперь миллионы, как наложил в штаны этот либеральный деятель. А не мешало им поглядеть, чего стоят наши либералы... Информация, конечно, появится. И на ТВ тоже. Шум будет немалый. Но все равно это — пшик... Подумай, как эйфория пройдет от своего геройства.

— Ах, вон как мы далеко глядим и нелинейно мыслим! — взвился опять Пашня.— Какие мы расчетливые! Двух зайцев, значит, сразу — «ба-бах»: и либералам издыхающим пулю вкатить и публику покрепче к шоу привязать. А что постыдное будет выдано за норму — это пустяк, да?! Издержки телепроизводства?!.. Что мы творим, Стас?!.. Вот, попомни, ты меня еще благодарить будешь за сегодня...

— Жди, дождайся,— отгрызнулся незлобиво Берков.— Скромняга... Ладно, мне пора. Бесполезно с тобой говорить сейчас. И не попадайся мне на глаза... По-крайней мере, пока не позову... А придется звать,— ты прогремишь теперь.

— Жди, дождайся! Я сюда ни ногой!

— Что, сдрейфил!? Боишься за честь еще постоять!

— Студию твою боюсь доломать.



**Игорь Карлов\***  
(г. Тула)



## **В СОСЕДНЕЙ ПАЛАТЕ**

Ад устроен совсем не так, как мы представляем. Концентрический план Данте, апокрифические сказания — все это излишне литературно, чтобы соответствовать действительности. Гениальная догадка Достоевского о пауках в затхлом углу бани есть лишь вспышка провидения, но не дает развернутой картины, динамического образа. Как свидетельство очевидцев можно было бы рассматривать буддийские танка, на которых чудовищные демоны пожирают грешников, терзают их плоть столь изуверски, что сама восточная изощренность бледнеет перед натурализмом изображения. Но даже в таких картинках присущий живописи эстетизм (как, скажем, и у Иеронима Босха) мешает ощутить подлинность мучений. В реальности все должно быть страшнее в своей простоте, обыденности и повторяемости.

Осязаемой моделью ада могло бы стать, например, отделение урологии областной больницы дотационного региона России: ночь, глухая темнота за окнами, подчеркнутая тревожным желтым светом дежурного освещения; манипуляции с больными прекращены, врачи ушли, оставив очередного цербера на посту медицинской сестры; брошенные на произвол судьбы грешники искупают блуд, пьянство и чревоугодие почечными коликами и болями внизу живота. Стон и скрежет зубовой повсюду. Страшно слышать их, но еще страшнее видеть обитателей урологического ада. Маленькие дети, которых иногда зачем-то приводили с собой посетители, приходившие навестить заболевших родных, плакали от ужаса, увидев сборище Франкенштейнов, с торчащими из тела трубками, с перекинутыми через плечо полиэтиленовыми контейнерами, в которых плескалась отвратительного вида жидкость.

Фантазмагорический внешний вид страдальцев невольно заставлял думать, что и внутренний мир их жуток, непостижим; так всегда считают люди, сталкиваясь с неизвестным, с тем, к чему пока не привыкли. Монстры урологии и впрямь внушали человеку неподготовленному кошмарные ощущения, а при всем том в несчастных не было ни грамма мистики или готического мироощущения. Они оставались реальными людьми с самыми обыденными запросами и проблемами. И вместе с тем, болящие все же были страшны в любых своих проявлениях, скажем, во время приема пищи, когда трясущимися руками несли тарелку с жидкой похлебкой. Когда ели как-то особенно неопрятно, когда морщились: опять бурда! Когда несли остатки своих порций к ведру с помоями, поставленному рядом с раковинником, и, выплескивая свою порцию, склонившись в поклоне перед электрической сушилкой для рук, попадали макушкой под ее раструб, от чего сушилка утробно и торжествующе ревела, словно радуясь очередной жертве. Больные вздрагивали и понуро семенили прочь.

Мученики заболеваний мочеполовой системы были страшны даже в комических ситуациях. Намаившись лежанием в койках за долгий день, страдальцы под вечер выходили на прогулку по длинному больничному коридору, своего рода Бульвару Уроло-

---

\* Наш постоянный автор, лауреат премии «Левша» им. Н. С. Лескова.

гии, вдоль по которому гуляли попарно и поодиночке, оценивающе поглядывая друг на друга и чуть ли не раскланиваясь, как в позапрошлом веке. Дамы, наверняка, обсуждали фасоны и расцветку больничных халатов, а кавалерам впору было покручивать усы и приподнимать цилиндры, встречаясь с ковыляющими навстречу чаровницами. Карикатура на гравюру XIX века с Невским или Летним садом: бомонд в лохмотьях и тапочках. Представители высшего общества в бесформенных халатах и старых спортивных костюмах, с торчащими из тела трубками,— какая жестокая ирония!

Урологические больные были страшны и тогда, когда их никто не видел под покровом ночи. Страх и боль, выработанные ими за день, безраздельно владычествовали на третьем этаже больничного здания. Каждый из бессонных страстотерпцев, притаившихся в черных углах своих застенок, по-своему перемогал болезнь, но все вместе они создавали то неприятное энергетическое поле, которое явственно ощущается в любой больнице и которое затягивает даже бодрых и здоровых людей и заражает их тоской безысходности. Наверное, самое страшное в аду — безнадежность. Страдание ужасно, но переносимо, когда есть надежда на окончание страдания. Когда же такой надежды нет, выдержать даже малую толику боли почти невозможно...

В ту ночь мученики урологии испытали не только физические, но и моральные страдания. Уже за полночь внезапно сработала пожарная сигнализация. Поначалу было похоже, будто в коридоре включили радио или заевшую пластинку. В палатах стали просыпаться, прислушиваться... Бесстрастный и вежливый механический голос сообщал о пожаре, предлагая без паники покинуть помещение. Прибеги кто-то, крикнув пронзительно: «Братцы! Горим!», и люди зашевелились бы, ища путь к спасению, но замороженный голос из динамика превращал все в какую-то непонятную игру, расслаблял, лишал воли. Однако наиболее сообразительные больные уже полезли поодиночке из щелей своей муки на свет дежурных ламп. Одни выходили с папками — несли документы, историю болезни, как историю жизни, как свое оправдание перед Богом на Страшном суде. Другие тащили на себе запчасти — трубки и пластиковые мешки с циркулировавшей по их организму жидкой субстанцией. Постепенно коридор наполнился болящим людом, который приюхивался, смотрел по сторонам, протискивался к дверям отделения, запертым, тем не менее, на ключ. Хаотично двигались по коридору хворые, пытаясь выяснить, как спастись, что делать. И удивительно, но к волнению примешивалась глубоко затаенная радость: может быть, удастся, хотя бы даже ценой смертельной опасности, на законных основаниях вырваться из ада? Пусть на краткий миг, пусть в отсветах пожара, в дыму, но вдохнуть вольный ветер здоровой, небольничной жизни — это было бы счастьем.

На суету в коридоре напряженно взирали сквозь неплотно прикрытые двери своих палат те, кто не мог двигаться, кто был прикован к кроватям недугом. «Неходячие больные» замерли в тревоге, поняв, что пришел их конец, что гореть им, немощным, заживо, ибо в суматохе пожара никто не войдет к ним, не поможет... Некоторые из «неходячих», измученные болью и беспомощностью, днем, в перерывах между процедурами, молили Бога послать им кончину, но сейчас, ночью, перед лицом страшной гибели, и они хотели жить, словно молодые.

А в коридоре недоумение постепенно сменилось мрачными шутками — осмотр здания из окон, насколько это было возможно, и звонки в другие отделения больницы немного успокоили заложников физиологии. Оказалось, что тревога ложная, что сигнализация ошибочно сработала, причем лишь на двух этажах: здесь, на третьем, и в кардиологии. Какой нечеловеческий сарказм! Допустим, в урологии еще можно было бы воспринять произошедшее с трагикомическим оттенком: ну, описается от страха человек, выскочат из почки камешки, да и все. В кардиологии же такой переполох мог кончиться гораздо драматичнее...

Надо сказать, что во время происшествия с мнимым пожаром страстотерпцы испытали не только опасения за свою жизнь, но и горечь предательства. Неожиданно все

увидели, что дежурная медсестра облачена не в белый медицинский, а в самый обыкновенный байковый домашний халат, такой удобный и теплый. В этом наряде сестра, снявшая с себя белизну ответственности за людей и облекшаяся в негу домашнего уютта, ничем не отличалась от больных, сливалась с ними и была неузнаваема. Факт переодевания воспринимался безусловным фактом измены — это все равно, как если бы на поле боя солдат надел униформу противника. Долго не было видно и дежурного врача. Наконец, доктор поднялся с нижнего этажа. Страдальцы несколько успокоились: «Ну вот, сейчас все разъяснится! Сейчас станет понятно, что делать». Но оказалось, врач сам пришел узнать, что тут у них стряслось. Он расспрашивал медсестру, и по сконфуженно-раздраженному лицу его было видно, насколько он рассержен всем происходящим. Стало понятно, что, пользуясь неурочным временем, доктор ушел из своего отделения по каким-то посторонним делам (в карты ли играл с коллегой на другом этаже, или амурничал с молодой медсестричкой?), и теперь ему было крайне досадно, что оторвали от приятного времяпрепровождения и вернули к делам служебным.

После отключения пожарной сигнализации тревога постепенно улеглась, и больные разбрелись по своим палатам. Все стихло, а через небольшое время летний расцвет стал проникать в больничные окна каплями еще не света, но уже как бы полутьмы. Эти светлые частички зарождались в таинстве короткой июньской ночи и вливались в распахнутые оконные проемы, убаюкивая больных, как поддерживающая жидкость из капельницы, вливаясь в вену, приносит забвение и несколько мгновений расслабленного покоя. Капля за каплей атомы света вкатывались в палаты, и становилось легче, потому что придет утро и, может быть, еще день можно будет прожить.

В девятой палате лежало четверо. Молчаливый безработный — заведомый конформист по неосознаваемым, но прочным убеждениям, всегда готовый к любому повороту событий, легко принимавший все, что происходило вокруг, особенно, когда это не касалось его впрямую. Его поразительная склонность к компромиссу раздражала даже врачей, поскольку пациент немедленно соглашался как на ускоренную выписку, так и на быстрое проведение операции. Врачам особенно трудно пользоваться таких больных, так как приходится полностью брать ответственность за их дальнейшую судьбу на себя, что неприятно. У другой стены посапывал во сне наркоман, работавший водителем маршрутного такси, пропагандист идеи о легализации легких наркотиков, глаза которого становились масляными каждый раз, когда он возвращался из туалета с перекура. Койку около окна занимал сорокалетний электрик с водянойкой яичка, ожидавший наутро операции. Четвертым был старый «з/к», появившийся в палате лишь вчера утром, вошедший угрюмо, не здороваясь, процедив сквозь зубы что-то вроде: «Можно у вас поместиться?» Старик, имевший восемь «ходов», который «всю Сибирь толкал», прошедший Север от Воркуты до восточной окраины континента. Ветеран лесоповала, сам удивлявшийся, что до сих пор жив, сложив на больничном одеяле кисти рук, испещренные «наколками», спал, занимая всю койку, но не раскидывая конечности, иногда храпывал, но тут же осекался во сне. Именно так спят бывалые арстанты в тюрьмах, на пересылках, в лагерях: многолетняя привычка быть даже во сне готовым к немедленному отпору или беспрекословному повиновению совершенно беззащитного спящего человека делала носителем одновременно двух статусов — доминирующего и подчиненного.

Постепенно жирная антрацитная темнота в палате под напором частичек света расточалась, серела, превращалась в своего антипода. Казалось, предрассветное умиротворение вот-вот снизойдет на мир Божий и на отделение урологии как малую часть его. Но в соседней палате послышались возня и стоны. Там, за стеной, помещена была одинокая старуха, страдавшая произвольным мочеиспусканием. Все другие больные постепенно покинули палату, ибо находиться рядом с полубезумной бабкой было невозможно. Бывшие соседки старой карги умоляли переселить их куда угодно, в самую переполненную палату, лишь бы освободиться от криков, стонов,

падений, нечистот. Медперсонал почти не заглядывал к оставшейся в одиночестве пациентке, и, проходя днем по больничному коридору, за неплотно прикрытой дверью можно было увидеть тщедушное тельце в лохмотьях, валявшееся то на кровати, а то и на полу в собственных испражнениях. И вот сейчас, под утро, задремав, старая женщина снова свалилась на пол и не находила в себе сил подняться на лежанку. Стоны старухи за стеной становились громче, постепенно складываясь в нечленораздельную, недоступную восприятию по смыслу, но интонационно очень выразительную и точную речь погибающего человеческого существа.

В девятой палате шум за стеной вызвал мгновенную реакцию. До того крепко спавшие больные завозились, закашляли, засопели — все, кроме наркомана. Сквозь сон они понимали: что-то случилось. И первая их реакция была реакцией облегчения: не у нас, в соседней палате... Не со мной!

Бормотание за стеной перешло в крик. Сначала это был крик боли, ставший постепенно криком отчаяния. Пытаясь докричаться до кого-то, старуха стала выражаться более членораздельно: «Люди добрые! Помогите!» Мольба о помощи оказалась понятна не только интонационно, но и смыслово. «Люди добрые! Люди добрыи! Люди добры! Помогите! — на разные тона голосила бабка. — Я упала! Помогите, пожалуйста, люди добрыи-и!» Станный в сегодняшнем мире призыв, долетавший, казалось, не из-за стены, а из того старого времени, когда люди еще стремились ощущать себя добрыми, когда на этот призыв отзывались, если не для себя, то хотя бы для других — показать свою доброту. Думалось, что на зов Бабы Яги из соседней палаты, как лист перед травой, должны были бы явиться добры молодцы, какие-нибудь двое из ларца, и навести порядок. Но чуда не произошло. Не было слышно в больничном коридоре ни молодецкого посвиста, ни топота Сивки-Бурки, ни даже чьих-нибудь шагов. «Люди добрыи-и, люди добрыи-и!» — старуха срывалась на истерический фальцет, но добрых людей не обнаруживалось: никто не спешил ей на помощь. Почему в ответ на мольбу о помощи никто не явился? Не было на третьем этаже добрых людей? Или уже во всем Божьем мире добрых людей не осталось?

Доброта — самое бесполезное для человека качество характера. И в то же время — самое показное: подал нищему копейку, и все вокруг уже увидели, что ты не жадный, то есть добрый. Но, странное дело, при столь распространенном демонстрировании собственной доброты, при непоколебимой внутренней убежденности каждого, что он-то и есть самый добрый человек на свете, мы мало о ком в обиходном разговоре скажем: «Этот добрый». Потому как подспудно понимается всеми, что на самом деле добро со щедростью материальной не полностью совпадает. Тут нужно еще и внутренне, душевно затрачиваться, а до таких трат мы жаднее всего. Проще уж расстаться с частицей своего достатка, чем быть на самом деле обеспокоенным кем-то еще, кроме себя самого, проще производить на окружающих впечатление добряка, жертвуя лепту на храм или на сирот. А утвердившись добряком в глазах окружающих, ты уже и сам начинаешь себя считать добрым. Раз и навсегда убедив себя в собственной доброте, живешь в этом убеждении, как в броне, и незачем тащиться в соседнюю больничную палату в темноте, среди посторонних людей, когда никто не увидит, не оценит твоей доброты. Какой странный, несвоевременный тест на добро предложила вдруг всем старуха из соседней палаты! Кто наделил ее полномочиями подвергать нас такому испытанию?! Кто и почему имеет право беспокоить совесть, уже задремавшую было на казенной подушке?!

Снова и снова назойливый, неприятный голос, почти вой: «Люди добрыи! Люди добрыи!» Одно и то же повторяла старуха, как заклинание, это раздражало и смущало. Нытье продолжалось настолько долго, что, как показалось, на него стало отзываться эхо. Не то реальное физическое явление, которое поселяется в пустых помещениях и среди гор, а какое-то потустороннее эхо, долетевшее сюда из неведомой



таежной глухомани, где погибали заблудившиеся странники, так же вызывая о помощи,— авось кто-нибудь услышит. Эхо всех тех узилищ, где мучили людей с незапамятных времен по приказам фараонов, царей, императоров и прокураторов. Эхо казематов, где терзали воров и татей опричники, заплечных дел мастера. Эхо внутренних тюрем НКВД, эхо пыточных камер фашистских застенков и концлагерей. «Люди добрые!» — как наивно такое обращение к палачам, и как логично оно, это обращение, к тому человеческому в изуверах, что должно же было оставаться. Несчастному мученику всегда кажется, что именно его горячая мольба дойдет до крошечной души мучителя, именно в отношении к его горькой судьбе произойдет перемена и обновление в сердце ката, и тот раскается, отпустит несчастного, и, стеною, бия себя в грудь, отправится замаливать грехи вдали от людей, потому что таков непреложный закон человеческий и Божественный: слабый рассчитывает на покровительство сильного, зло исчерпывает себя и прекращается, мир становится светлее и лучше.

А в эту ночь было не так. Долго кричала бабка из соседней палаты, и никто не хотел заглянуть к ней. «Позовите врача! Врача! Вра-ча-а!» — надрывалась старуха. Но вскоре со всей безжалостностью истины стало понятно, что помощи от медперсонала она не получит. Это осознала и сама полоумная, рассчитывавшая теперь уже не на медиков, а на тех больных, которые слышали, не могли не слышать ее призыва, и в силах были прийти ей на выручку. «Помогите, дайте руку!» — завывала старая женщина, но тщетно. Даже такой малости — протянутой руки — не удостоили ее люди. Крики переходили в стоны, а стоны — почти в песню, раздражающую и болезненно нервирующую. Но никто не хотел брать на себя ответственность и решимость доброты. Лежа на больничной койке и слушая стоны и крики, многие лишь озлоблялись на хрычовку, прервавшую сон, не собираясь и пошевелиться, чтобы помочь ей. Кое-кто негодовал на медсестру: вот, ведь, бесчувственная стерва! не слышит что ли! Наверное, кто-то жалел старуху в глубине души, сочувствовал. Но подниматься с кровати, идти в соседнюю палату, скользить по залитому мочой линолеуму, поднимать с пола и класть на кровать дурно пахнущую, явно неадекватную бабку... Неизвестно еще, чего от нее ожидать: вдруг кинется на спасителя — что с нее возьмешь, дура ведь... Даже самые сердобольные в своих мыслях люди постепенно испытывали нехорошее чувство к старухе за то, что не дает спать, заставляет думать, чувствовать, испытывать угрызения совести. И какая-то странная рефлексия поражала мозг: возникали вдруг размышления о том, что является добром в данном случае; может ли естественный порыв помочь человеку, оказаться добрым поступком, если он обернется неудобством или опасностью для того, кто мог бы, в принципе, добро совершить. Что есть истинное добро? Может быть, вся глубина добра в том, чтобы мне продолжать валяться на этих больничных простынях, а идти мне в соседнюю палату — совсем и не добро?.. Удивительно, как самоанализ подавляет свободу! И чем глубже рассуждение, тем прочнее запутывается человек в сетях мысли, тем стремительнее теряет он волю, способность действовать.

На короткое время крики в соседней палате стихли, раздались глухие стуки. Старуха, осознав, что помощи ждать неоткуда, стала двигать мебель, пытаясь подняться сама. Но была она столь немощна, что, пожалуй, и стул бы не смогла подвинуть. Жалкая возня за стеной вновь сменилась криками. Это вызывало резкое раздражение и желание не слышать. Да как смеет она обращаться за помощью?! Мы сами больны! Но тут же внутренний голос разоблачал лукавство: конечно, больны! но не настолько же, чтобы не иметь возможности помочь самому или, по крайней мере, позвать медсестру, обратить ее внимание на беспомощного человека. Благоразумная рефлексия, упорно противоречившая желанию помочь ближнему, выходила на новый виток. Все знали крутой нрав медсестер из урологии, все понимали, насколько неприятно им будет, когда их на рассвете погонят поднимать старуху. А ведь у этих медсестер и

дальше лечиться. От них многое зависит: рассерженная медсестра может болезненно сделать укол, пропустить процедуру, не дать таблетку — мало ли что еще. У медсестер множество способов отыгаться на неудобном больном! Плюс к тому они друг другу передают все, что произошло на дежурстве, могут попросить и сменщицу досаждать строптивцу. Кому нужны неприятности на фоне и так уже не слишком сладкой жизни пациента урологии? Нам что, больше всех надо? Есть же дежурная, ей за доброту деньги платят! Сестра милосердия — так раньше называлась эта профессия. Профессия... Специальность... Служение добру и милосердию превратилось в профессию и стало профессионально бездушным. А нам, неспециалистам добра, что же нам делать?

«Помогите! Дайте руку!» Снова и снова в предутренней тишине больничного здания раздавались призывы помочь — и снова никто не приходил на помощь. Что удерживало людей? Брезгливость, страх, лень... Какие еще качества? Да надо сначала с этой старухой разобраться: она сама-то добрая ли? А вдруг она противная и злокозненная, всю жизнь мешала и надоедала окружающим, а теперь вот решила на халявку добро от других получить? Нет, нас на это не купишь, мы люди бывалые, понимаем, что к чему. Вот если бы кто-то нам доказал, что этот божий одуванчик — живое воплощение доброты, мы бы ей помогли, а так...

«Люди добры! Люди добры!» Светает. Где же добрые люди? Можно ли их будет увидеть при беспощадном свете дня? Ворочался на своей кровати электрик — все о своем думал, об операции. Он боялся ложиться под нож, но и жить далее с распухшим пахом было невыносимо, неприлично. Даже в туалет сходить стало проблемой. Да и жене неудобно демонстрировать такое слоноподобное достоинство. Какое-то время мужчина прятал чудовищно распухшее яичко в складках брюк свободного покроя, а сейчас всем стала очевидна его болезнь. Но операция страшила. Страшно было лишиться сознания под наркозом, отдать свое тело в руки чужих людей. А потом, еще не отошедшего от наркоза, привезут в палату... Он почему-то очень не хотел, чтобы его бред слышали соседи, все казалось, что будет материться. А тут еще эта бабка орет среди ночи, отдохнуть не дает! Безработный конформист лежал, тупо глядя в потолок — ждал команды. Скажи ему кто-нибудь: «Иди, спасай старушку», — пошел бы и переложил ее на кровать, прервал бы череду болезненно раздражавших криков-стонов. Но команды не было, и безработный не решался проявить самостоятельность: вдруг кто-то осудит его за нарушение молчаливого сговора недобрых людей. Водитель-наркоман не отрывался от своего бредового забытья, не слышал, не чувствовал призывов к доброте.

Безучастным бревном с огромными исколотыми фиолетовыми узорами руками лежал на койке «зэк»: не его это дело, все его дела, как известно, остались у прокурора. У него вообще не было дел в непонятном и жестоком вольном мире, где нет твердых понятий, где чуть ли не ежеминутно приходится отвечать себе на вопросы: добрый ты или злой? прав ты или нет? делать ли что-нибудь или бездействовать? Долгая жизнь в заключении приучила его к тому, что надо быть дерзким, крутым, резким, а для этого не следует рассуждать. «У нас бы на зоне...» — он именно так и осознавал, даже находясь вне мест заключения: «у нас», резко противопоставляя заключенных находившимся на свободе людям. «У нас бы на зоне давно все закончилось: либо задушили подушкой суку, либо «шестеркам» шикнули, они бы ее на шконку положили да еще укрыли бы одеяльцем. А тут... Ни хрена хорошего». Бывший заключенный неожиданно для себя растерялся в этой пустяковой, в общем-то, ситуации: нужно было определить свою позицию непосредственно, прямо, без каких-либо авторитетов, а опыта такого не было; необходимо было разобраться в себе, но он не умел этого делать. Неприятно и непривычно было размышлять на отвлеченные темы, хотелось провалиться в черный сон, как это было в лагерях, но приходилось поневоле слушать надоедливые крики, и не было права у него прекратить их своевольно, как не было решимости откликнуться и помочь. В то же время, почему-то невозможно

было отключить сознание и совесть, как он много раз делал в лагерях... Когда «зэк» думал, рассуждал, время словно останавливалось, что было, пожалуй, страшнее всего. Он привык к деятельности, пусть даже бессмысленной, пусть даже вредоносной, однако поглощавшей все его существо, заслонявшей собой счет времени и тоску насильственным образом ограниченного пространства. Когда «мотаешь срок» любое замедление (а тем более остановка!) времени недопустимо, и надо хотя бы чем-нибудь занять руки, забросать мозг самой чепуховой информацией, вроде того, как забивают рот семечками — от нечего делать: плести «дорожку на волю», набивать «наколки», «чифирить» — все что угодно, лишь бы убить время. А вот на воле, оказалось, время неубиваемое: есть оно, ничего не поделаешь, надо существовать в нем, приравниваться к нему и к своему новому нутру.

Время в палате, во всем отделении и впрямь замедлялось. Это было до удивления наглядно: световые шарики теряли свою скорость и становились заметны любому наблюдателю; крики старухи приобретали тягучесть и вязкость; явь перетекала в сон, а сон в явь медленно и внушительно, как ртуть. Приостанавливался ход времени от всеобщего размышления о том, что же такое доброта, добро. Собранные на третьем этаже оббольничцы люди раздумывали о природе добра и о своем отношении к добру, вопрошали себя о добре вообще и о своем участии в творении добра. А поскольку это главное дело в жизни, время давало людям возможность не торопиться, подумать еще и, возможно, всем вместе, соборно впустить в мир толику добра, малую, почти неуловимую, как корпускула света, но необходимую. Это становилось все более понятным, и осознавалось правильным даже то, что время оформило для вердикта о добре такой нелепый, чудовищный антураж: урологическое отделение областной больницы дотационного российского региона. На фоне страха, боли и нечистоты, предательства и безразличия, inferнальной темноты и нервного желтого света дежурных ламп ясным вдруг показалось, что это все-таки не ад, а чистилище: есть еще возможность что-то изменить, качнуться в сторону света. Время застыло в больничной декорации, придавило людей необходимостью поступка, и неизбежность выбора становилась мучительна, почти как почечная колика. При всем том оказалось, что замедленное время обладает огромной энергией, энергией статичности, которую преодолеть, пожалуй, сложнее, чем энергию неумолимого движения времени. Энергия остановившегося времени настолько сильна, что замер даже начавшийся было рассвет. Десятки людей, собранных волей случая в одном месте, тем же случаем принуждены были одновременно предаться раздумьям над тем, что в обычной жизни люди игнорируют. Хотя, возможно, это и не было случайностью. Вполне вероятно, что именно этим людям следовало по законам неведомой нам справедливости (ее принято называть «высшей») оказаться в отделении урологии в эту минуту, претерпеть мучения и адскую боль, горечь разочарования и утраты надежд, дабы вот сейчас, на пороге рассвета, всем вместе задуматься над чем-то вечным, замедлить время и решить для себя нечто важное. Важнейшее: продрасться ли сквозь кромешную лень души к добру, или оставить добро, отказаться от него окончательно, и остаток дней служить злу? А возможно, обитателям урологического ада следовало действовать не коллективно, а лишь молчаливым голосованием выбрать кого-то одного, способного оформить стремление к добру в поступок?

«Люди добры! Помогите!» — опять затянула свое старуха. «Зэк», кряхтя и кашляя, поднялся с кровати, медленно подошел к двери, по-воровски незаметно нырнул в коридор. Через малое время возникла суетная возня в соседней палате, а затем все стихло.

«Придушил он ее, что ли? — подумал электрик из девятой палаты.— Или просто так совпало?» Отвыкшие от тишины больные не могли поверить, что нескончаемые стоны прекратились. За окнами стало светлее, рассвет уверенно приближался. Может быть, в Божьем мире все встало на свои места? Или просто так совпало? Скрипнула дверь девятой палаты. Бывший «з/к» вошел и лег на койку, сосредоточенно и надсадно сопя.

**Ирина Кедрова**  
(г. Москва)



## **ТИХИЙ СТАРЕЦ ИОАКИМ**

*Прозаик и драматург. Член Союза писателей России и Творческого клуба «Московский Парнас», зав. отделом критики «Приокских зорь» и «Московского Парнаса».*

Блеснул свет в небольшое оконце. Высокий и жилистый монах поднялся со скамьи, стоящей в полутемной келье. Подошел к стене, на которой висело несколько икон, встал на колени и начал молиться, тихо и долго шепча что-то непонятное. Одно только слово «Господи» можно было ясно услышать в его молитве.

Начинался новый день. Такой же, как все другие в длинной череде монашеской жизни. Что вспоминал, о чем печалился монах Иоаким?

\* \* \*

Радостно в доме князя Ивана. Жена его Александра родила сына — крепыша, с сильным голосом, требующим к себе всеобщего внимания. Назвали малыша Дмитрием. А внизу, в одной из клеток княжеского дома в это же время тихая княжеская служка Марфуша родила двух сыновей. Кто был отцом мальчишек, осталось неизвестным, поскольку мужа у Марфуши не было, а дознаться возможности не представилось. Через неделю после родов женщина умерла от сильного кровотечения. Так появились на свет Федор и Никита. Росли мальчишки в княжеском доме, ухаживала за ними ключница, которая привечала их мать, а воспитывал дядька Семен, служивший князю.

Федор — крепко сложенный, широкоплечий, с черными шелковистыми волосами и яркими карими глазами, проявлял боевитость с первых своих шагов. То с мальчишками дворовыми подерется, то они его побьют. Дня не проходило без ссадин и ран. Он даже с княжичем Дмитрием мерялся силами.

Никита, напротив, тонкий и стройный, с ясными синими глазами и пепельными волосами, любил наблюдать цветение природы, бег лошадей. Его кротость удивляла всех. Но с тихой доброжелательностью в мальчишке уживались упрямство и настойчивость. Взрослые говорили, что один из братьев лицом и характером похож на мать, а другой... О другом предпочитали молчать. Да и как скажешь, что с годами он все более походил на самого князя Ивана?

Вскоре после рождения мальчишек в Москве разразилась чума — страшная болезнь, унесшая жизни многих горожан, знатных и незнатных. Умер великий князь Семен и его брат Андрей. Остался в живых князь Иван, управлявший теперь московским княжеством и всей Русью. Так княжич Дмитрий стал наследником великокняжеского престола.

На братьях эти изменения тоже сказались. Князь Иван, почему-то уделявший

внимание их взрослению, требовал, чтобы они вместе с княжичем обучались ратному делу. Воспитанием юного князя занимался митрополит Алексей, известный человек своего времени. Славившийся в молодые годы удалством храброго воина, а затем постригшийся в монахи, он имел значительное влияние на бояр и сумел, побывав в Константинополе, добиться сана митрополита.

Путешествие в Византию оказалось опасным. Корабль, везший нового главу русской церкви на родину, попал в страшную бурю, тем не менее, благополучно достиг берега. В знак счастливого возвращения Алексей решил основать монастырь. Место было подобрано такое, чтобы стоял Божий град на высоком холме, спускавшемся к реке Яузе. Отсюда шла дорога через Рязань на Орду. Отсюда был хорошо виден московский Кремль. По мысли Алексея этот монастырь должен был не только слово Божие нести в мир, но и защищать Москву от врагов.

Надзор за строительными работами поручили монаху Андронику, человеку ученому, сердцем болевшему за объединение земель русских. В день начала строительства приехали на берег Яузы князь Иван с сыном. Федор и Никита тоже здесь оказались.

— Смотри-ка, Никитка,— сказал Федор,— Князь с митрополитом заложили первое бревно церкви. Давай и мы поможем.

Восьмилетние братья были убеждены, что их помощь необходима, и хотя сил у них недостаточно, все же они приняли участие в строительстве.

— Видно, будет толк из братьев, раз на святое дело вышли,— услышали ребята добрые слова воспитателя княжича.

После смерти князя, приведшей Дмитрия на княжеский престол, братья по-прежнему были рядом с ним. Митрополит Алексей, ставший теперь фактическим правителем, не мешал, полагая, что такая дружба оказывает на девятилетнего князя благотворное влияние.

Перед ним стояла важная задача — примирить юного Дмитрия с другими князьями и вернуть в Москву ярлык на великое княжение. Ханы сменялись в Орде, убивая один другого. Лет шесть назад митрополит оказал важную услугу хану Чанибеку, когда тяжело заболела его жена Тайдула. Тогда попросил хан князя Ивана прислать монаха Алексея, к молитвам которого, как ему доложили, прислушивается сам Господь. Так грозный предводитель татар обратился за помощью к христианскому Богу, и, надо сказать, успешно, поскольку стараниями русского монаха Тайдула выздоровела.

Теперь же, когда встал вопрос о великом княжении и огромных выплатах новому ордынскому властителю Бердибеку, митрополит снова отправился в Орду, чтобы испросить у жестокого хана через его мать Тайдулу милости для русского государства и православной церкви. Вскоре князь Дмитрий получил ярлык на великое княжение.

Рос и мужал князь, росли и братья, ставшие его верными дружинниками. Разрастался монастырь, в закладке которого они принимали участие. В отстроенной деревянной церкви установили образ Спаса нерукотворного. С этим образом митрополит прежде не расставался, а теперь подарил монастырю, отчего тот стал называться Спасским. Позже решили, что имя первого настоятеля Андроника, ученика преподобного Сергия Радонежского, тоже должно звучать в названии монастыря, и стал монастырь Спасо-Андрониковым.

— Как ты думаешь, почему митрополит отдал в монастырь икону, с которой никогда не расставался? — спросил у брата Федор.

— Спаситель призывает людей не щадить живота своего за землю русскую, не бояться смерти и ран. Когда я стою перед ним, мне умереть хочется за людей наших. Раньше так думал один батюшка Алексей, стоя перед иконой, а теперь все, кто молится за нас в монастыре,— отвечивал впечатлительный Никита.

Судьба оберегала их даже тогда, когда других не щадила. Снова объявилась в Москве чума. Года четыре она по Руси бродила и набрела на москвичей. Умирали

семьями. Покойников было так много, что хоронили в общих могилах. Князь Дмитрий в тот страшный год потерял младшего брата и матушку свою.

Только горе одно не приходит. От маленькой свечки, оставленной в церкви Всех Святых, загорелась Москва. Стояло жаркое лето, воды не хватало. А шквальный ветер, внезапно обрушившийся на город, разносил головешки и горящие бревна. Тушили один двор, а от него загорался другой. Дотла выгорели Кремль, Посад и пригород московский, множество погибших насчитали горожане.

Жизнь, казалось, остановилась, да не только тяготы изводили москвичей. Были светлые праздники и большие радости. Приехала в Москву дочь суздальского князя Евдокия. Случайно встретился с ней Федор, глянул в девичьи глаза и утонул в них навсегда. Разве мог он, безродный, надеяться на то, что княжна глянет в его сторону? Конечно, нет, так ведь сердцу не прикажешь. С той встречи, с того мгновения, когда увидел Федор ее глаза, понял — жизнь за нее отдаст.

А Евдокия? Состоялась в Коломне шумная, веселая, богатая на дары и угощения свадьба московского князя и суздальской красавицы. Дмитрий и Евдокия — счастливая пара, которой любовались те, кто допускался в княжеский дворец. Вся Москва радовалась за молодых и желала им скорого прибавления в семействе. Радовался и Федор, а сердце щемило: не видать ему, видно, любовного счастья, будто приворожила парня краса-Евдокия.

Свадебное празднество не прошло бесследно для братьев. Тогда же встретились они с Евфросиньей, покоровшей сердце Никиты. Скоро и Никита стал мужем, хотя полагалось по обычаю дождаться братниной свадьбы. Всего на несколько минут, да старше Никиты Федор.

— Что же ты, брат, никак не найдешь красну девицу по сердцу? — беспокоился Никита.

— Моя красна девица отдана другому. Так что не жди меня, брате. Женись, раз Евфросинья сердцу мила.

Сколько ни пытался Никита узнать, кто она — сердечная братнина зазноба, ничего у него не вышло. Наконец, решил он не лезть в душу к Федору, поняв, что сердечная рана у брата открыта и кровоточит. Его же счастье быстро развивалось. Сыграли свадьбу, не такую пышную как у князя, но душевную. Сам митрополит Алексей поздравил молодых и пожелал им детей добрых, достатка неизбывного и жизни в согласии с Богом. Действительно, Евфросинья оказалась бабой удачливой, в положенный срок произвела на свет Евсея — малыша-крепыша.

Жизнь москвичей всегда была беспокойной. Князь Дмитрий часто приводил свои войска в движение. То литовцы заявляли о претензиях, то Тверь отстаивала первенство, то татары напоминали о себе. В ответ на разгром русских войск на реке Пьяни и разорение Рязани и Нижнего Новгорода москвичи, объединившись с нижегородцами, напали на татарские укрепления, тянувшиеся по берегу Суры. Тогда хан Мамай направил на Русь войска. И снова Федор и Никита, позванные князем Дмитрием в поход, разбили татар на берегах Вожи, стараясь не допустить врага в земли княжества. Взбешенный последними событиями, Мамай собрал новое войско, готовое жестоко покарать непокорную Русь.

Самой кровопролитной была битва на Куликовом поле. Вся Русь объединилась в ответ на призыв князя Дмитрия. Федор и Никита приехали с княжеской дружиной в Троицкую обитель. Вышел им навстречу игумен обители — святой старец Сергей и сказал:

— Братья мои! Защитите землю от врагов! Ждет вас кровопролитие ужасное, но и победа великая, погибнут многие герои за правую веру, но спасется Русь Великая! С вами идут на бой Пересвет и Ослябя, наши иноки.

После этих слов вручил игумен знамение креста на схимах, сказав: «Это оружие нетленное. Да послужит оно вам вместо шлемов!».

— Брате, сеча нас ждет страшная, и мы непременно побьем татар,— уверенность Никиты подкупала.— Бог освободит нас от Орды.

Федор давно заметил, что брат его умеет предвидеть ход событий. Так и отправились они на последнюю свою битву.

Силу московский князь собрал огромную: несколько пеших полков, да два конных, да еще на подхвате легкая конница. Пешие ратники, основу которых составляли простые горожане, вооружились копьями с узколистными и кинжаловидными накопечниками, саблями да луками, щитами различной формы — круглыми, треугольными, прямоугольными и сердцевидными. На груди — броня с кольчугой, на голове шлем-шишак.

Началась битва с поединка двух богатырей — Пересвета, до иночества бывшего брянского боярина, и Темир-мурзы. Как только богатыри вонзили друг в друга копья, мамаево войско бросилось на Сторожевой и Передовой полки с такой силой, что те почти сразу оказались смятыми. А в Большом полку, состоявшем также из пеших ратей, сражался в доспехах рядового воина князь Дмитрий. Федор с Никитой при нем находились, не давая татарам подойти с тыла. И все же не углядели, сами тоже в сечи бились. Ранен был московский князь.

Тяжко пришлось русским воинам, однако бились славно, будто слетелись на бой с неверными соколы да кречеты. И природа за них стояла. За спинами Дон мощной преградой раскинулся, фланги укрылись лесами да болотистыми берегами Непрядвы и Смолки. Несколько часов били русские татар, и гнали их еще долго. А потом все семь дней собирали и предавали родной земле погибших.

Вернулись в Москву с Куликова поля Федор на коне, а Никита в долбленной колоде среди других московских героев, видевших небо над Доном в последний раз.

Москвичи ждали победителей у Спасского монастыря, откуда открывался прекрасный вид на белокаменные кремлевские стены.

— Эх, брате,— горестно протянул Федор.

Похоронили погибших героев в монастыре у стен Спасского собора. В память о них заложили еще две церкви — архангела Михаила у стен, выходивших на Яузу, и Рождества Богородицы — над въездными воротами.

— Защитники Руси, герои отеческие, люди добрые! — обратился князь Дмитрий к народу.— Спасский собор — это призыв к великим жертвам во имя родины нашей. Архангельская церковь будет напоминать о военных битвах, в которых объединились русские княжества. Рождественская церковь утвердит память героев! Стоять будет наш монастырь вечно!

Так закончилась жизнь Федора в миру. Пришел он к князю Дмитрию и сказал ему:

— Погиб мой брат, и душа моя ранена. Не заживет та рана. Отпусти меня, князь, от службы твоей. Дозволь в монастырь уйти. С братом рядом там буду.

— Федор, ты мне как брат родной. И Никита мне братом был. Он ведь спас меня в битве, ты знаешь. Не волен я тебя останавливать. О семье брата не беспокойся. Все сделаю для Евфросиньи и ее сынов.

Пошел Федор в дом брата своего. Встретили его сыновья Никиты — Евсей, Ефрем и Федор. Вышла Евфросинья с младенцем Никитой, которого отцу не довелось увидеть. Низко перед нею склонился Федор, глаз от земли не подымая:

— Прости меня, Евфросинья. Не я должен был вернуться. Никита — часть меня. Нет его и меня нет. Решил я принять постриг. Ухожу в Спасский монастырь.

— За что прощения просишь, Федор? Видно, Господь так решил. А и правда, светлая душа была у Никитушки. Угоден он Богу. Только мне как жить, как детей растить?

— Князь тебе поможет, Евфросинюшка, детей поднять. Я молить Господа за вас буду. Прости меня.

Еще раз Федор поклонился жене брата. Прижал к себе его детей. Поглядел на младенца и вздрогнул: смотрели на него синие Никитины глаза.

Скоро принял он постриг. Так появился в монастыре монах Иоаким. Много и усердно он молился: за князя Дмитрия и жену его, милую сердцу Евдокию, за Евфросинью и детей братниных, за Русь и ее освобождение. Нес простым людям уверенность в том, что Бог орду переменит, ослабеет та и отступится. Первый шаг к ослаблению орды сделали они с братом.

Много еще бед пережил монах Иоаким. Хан Тохтамыш разорил Москву и увел в полон многих жителей, а среди них Евсея и Ефрема. Тяжело заболел и умер великий князь Дмитрий, прозванный в народе Донским, оставив детям и вызванному из монастыря монаху последние свои слова: «Бог мира да будет с вами!». Страшный пожар опять пожег Москву. Потом Тамерлан к ней приблизился. Вместе с москвичами встречал Иоаким на Кучковом поле чудотворную икону, привезенную из Владимира. Всю ночь молились перед ней митрополит Киприан, священники, князья, горожане, просили спасти Москву, не допустить к ней ордынского хана. «Матерь Божия, спаси землю русскую!» — неистово молил Иоаким вместе с другими. А на следующий день с радостью узнали жители, что Тамерлан развернул войска и ушел от Москвы.

Рос и застраивался силами монахов и местных жителей Спасский монастырь. Средства он получал огромные от семей погибших героев и их друзей, от людей разных званий и состояний. Обитель процветала во всеобщем уважении, становясь постепенно центром летописания и иконописи.

Старательно записывал Иоаким события, происходившие в московских землях. Но одно событие снова потрясло его, давно отказавшегося от мирской жизни. Знал он, насколько тяжело переживала княгиня Евдокия смерть мужа, готовая сразу же постричься в духовную обитель. А мирская жизнь требовала участия княгини. Она повелела построить в Кремле каменную церковь Рождества Богородицы. Много лет спустя заложила каменную церковь Вознесения. Там, в Вознесенском монастыре, приняла княгиня постриг, став монахиней Евфросиньей. Через несколько месяцев умерла, оставив по себе светлую память знавших ее и любивших.

Узнав о смерти княгини, горько плакал монах Иоаким. Никогда с того далекого дня, когда увидел ее молодой княжной, не встречались они, но всегда он знал, как она живет, чувствуя ее беды и радости. Эта женщина держала его на земле, теперь же ему оставалось лишь молиться.

День за днем, год за годом молил он Господа о спасении русской земли. Ни с кем не разговаривал. Тихо старел, превращался в немощного старика, в котором только глаза горели ярким и жгучим светом. Никто не видел его глаз, всегда опущенных к земле. Вместе с монахом ветшал и разваливался деревянный Спасский собор.

И вот на месте деревянного собора началось строительство нового — из белого камня. Вышел Иоаким из кельи, чтобы заложить в основание будущего храма первые камни. Вот уже возвели высокий цоколь.

Иоаким желал увидеть будущий собор, только жизнь еле теплилась в нем. Что ж? Не увидит он — увидят другие, те, кто никогда не забудет защитников Родины и его брата Никиту. Будут помнить князя Дмитрия и жену его Евдокию. Может быть, и его вспомнят, одного из первых строителей белокаменного собора Спасского монастыря? Он долго жил на земле. Так долго люди не живут. «Мир всем людям православным и защита Господняя!» — такой была последняя мысль тихого старца Иоакима.





**Владимир Чистополов**  
(г. Йошкар-Ола)

**МУЖИКИ ДОЛЖНЫ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ,  
ПОТОМУ ЧТО ОНИ МУЖИКИ**



*Чистополов Владимир Иванович, 1953 г. р. Член союза писателей РФ, заслуженный журналист Республики Марий Эл, работаю в республиканской газете «Марийская правда» ответственным секретарем. Автор поэтического сборника «Я всю жизнь хожу по краю» (1997 г.), публиковался в коллективных поэтических сборниках, стихи и рассказы печатались в республиканских и российских СМИ, один из авторов антологии русской прозы Марий Эл «Короткие встречи». Постоянный автор «Приокских зорь».*

В начале семидесятых меня и моего друга Сашку призвали в армию. Погода была плохая, провожающие в пальто и шляпах. Мы, впервые в жизни отрываемые от родного дома так всерьез и надолго, храбрились и делали вид, что нам на все плевать. Вчерашние мальчишки почувствовали себя взрослыми, многие знали друг друга, тут же образовались компании, и, как только поезд тронулся, выставив в проходы дозорных (чтобы сержанты не зачухали), начали пить вино. Дорога до Алма-Аты заняла почти неделю, наш состав двигался медленно и подолгу стоял, пропуская пассажирские поезда.

Еще в Казани я не глядя махнулся одеждой с каким-то узбеком, едущим служить на Север. Отдал ему пальто и шляпу в обмен на легкую куртку и тибетейку. Впрочем, и эту одежду до Алма-Аты не довез. Все было продано за несколько бутылок вина где-то в Куйбышеве. Туда же ушли и более-менее приличные мои и Сашкины ботинки.

— Зачем вам обувь,— успокаивали нас саботыльники,— в Алма-Ате тепло. Босиком до части дойдете, а там сапоги дадут.

В общем, дорога была долгая и пьяная. Когда проезжали мимо Аральского моря, покидали с себя остатки приличной одежды в обмен на вяленую рыбу, которую тут продавали на каждом полустанке. И очень дешево. До самого конца пути жевали вяленых судаков и лещей.

В Алма-Ате было холодно, дождик накрапывал. Мы с Сашкой, оставшись без обуви, почувствовали себя не готовыми Родину защищать. Потому разрезали пару рюкзаков, сделали обмотки и в таком виде явились пред светлые очи полкового начальства.

Впрочем, в здешнем полку связи и не таких видали. Начальство равнодушно занималось своим делом. А солдаты скалили зубы, глядя на нас, выстроенных на плацу, пооборвавшихся в дороге: что, с Севера приехали?

Алма-Ату мы разглядеть не успели. Прямо из карантина нас, изъявивших на то желание (деваться было некуда, потому как сержанта с ходу на три буквы послали), отправили в учебку в Ленинабад. Если бы мы знали тогда, что это такое, наверное, остались бы в полку. Но делать было нечего и понесло нас из Казахстана в Таджики-

стан, где к концу мая уже было так жарко, что у многих с непривычки шла кровь из носа, а ночами, спасаясь от жары, мы заворачивались в мокрые простыни.

С самого начала командир батальона объявил новобранцам, что если кто-то поднимает руку на сержанта — дисбат. Я попал в роту радиотелеграфистов, сержантом у нас был украинец с незаконченным высшим образованием, «интеллигент», который по мордасам не бил и разговаривал с нами более-менее по-человечески. Сашке повезло меньше. В роте дальней связи законы были волчьи. На вечерней поверке в строю татарин — сержант для профилактики «случайно» выбил ему два передних зуба. Это было в пределах норм, установленных в учебном батальоне. А офицеры об этом, вроде как, не знали. Сейчас в армии многие жалуются на дедовщину, дескать, раньше такого не было. Дедовщина в армии была всегда. Где-то больше, где-то меньше. «Старый» солдат, хлебнувший всех «прелестей» службы, никогда не захочет быть в одинаковых условиях с «молодым». Он уже «постиг» службу и при случае всегда «откосит» от наряда за счет «молодого». В принципе, это не очень страшно, если не принимает изуверских форм и не приводит к членовредительству. И в гражданском обществе люди стараются надуть друг друга, пользуясь случаем или служебным положением, что говорить об армии, где человеку жить намного сложнее.

И в то время в армии всякое случалось. За месяц до нашего приезда в ленинабадском учебном батальоне случилось ЧП, о котором сегодня узнала бы вся страна. Тогда об этом не знал никто. Трое рядовых хозвзвода, напившись, были арестованы и посажены на гауптвахту, где они обезоружили дежурного и, пройдя по части сквозь посты, открыли огонь, подрали часового. Затем уже в городе расстреляли в упор водителя «скорой помощи» и на машине дернули в сторону государственной границы, хотя понятно, что границы в то время были «на замке» и уйти за кордон у них шансов не было. На горном серпантине, не справившись с управлением, потерпели аварию. Один из них погиб, остальных потом посадили. Но все по-тихому. Знали об этом только очень немногие.

Кормили неважно, хотя от дистрофии никто не страдал. А гоняли по всей программе, с наворотами. В полдень, к примеру, когда солнце раскаляло плац так, что каблуки проваливались в асфальт, провинившемуся взводу устраивали «физическую подготовку». Делили курсантов на пары. Один брал другого за ноги, и этот другой бежал по плацу на руках. Потом менялись. От таких «упражнений» на обожженных ладонях вздувались огромные волдыри. После этого нас запускали на продольные брусья, по которым нужно было пробежать на руках. Волдыри, естественно, лопались. Очень неприятно.

Существовали и другие способы для поддержания образцовой дисциплины. Больных хорошо лечили. Заболел я как-то, пришел к фельдшеру-армянину.

— Вот, говорю, температура, бя...

Запустил он меня бегом вокруг плаца на время. Пробежал.

— Что, говорит, выздоровел?

— Так точно.

— Идды отдыхай.

И все дела. Но я на армию не в обиде. Бывало плохо, даже о самоубийстве мысли в голову приходили. Но мы все это прошли. Из гражданских хлюпиков сделали мужиков, способных постоять за себя, а главное — выживать в тяжелых условиях. И еще мы все чувствовали мощь этой армии. Во время политподготовки нам вдальблывали в головы, что победить Советскую Армию нельзя. Что она самая-самая. И мы искренне верили в это. И были уверены, что если дело дойдет до драки, у врага нет шансов на победу. Иначе для чего же нас натаскивают с таким пристрастием и подвергают таким лишениям. Любому башку отвернем, потому как Отечество наше самое могучее.

Я видел в казахской степи массивированную танковую атаку. Зрелище, надо сказать... По целине на огромной скорости шла лавина, вздымая за собой снежный шлейф, закрывающий горизонт. Страшный рев моторов. Чувство обреченности, ставшего на пути этих убийственных машин. Они прошли в недопустимой близости к узлу связи, порвав кабель, из-за чего наши начальники долго ругались с танкистами. А потом они стреляли по целям, а от канонады, казалось, тряслась земля. Вот такой я запомнил армию. Зубодробительной, мучительной, но непобедимой.

Когда нас призывали в СА, мы, конечно, знали, что там будет трудно, что там есть дедовщина, и возможно много других пакостей. Но со школьной скамьи нам твердили о том, что мы мужчины и должны защищать Родину. Ведь за нас это больше никто не сделает. Немного находилось таких, кто пытался от армии «откосить». Не принято это тогда как-то было. Существовало мнение, что если не служил в армии — значит, больной, значит, что-то у него не в порядке.

Закончив учебу (школу гладиаторов, как мне ее называли), мы вернулись в полк сержантами. Дедовщина для нас закончилась. Если рядовые одного с нами призыва еще «шарили» за кого-то полы в казармах, то мы от этого были застрахованы сержантскими лычками. Сержанты в армии полы не моют.

Много еще было всего, прежде чем мы вернулись домой. Но все плохое забывается, в памяти остается только хорошее. Например, весна в Средней Азии, когда все вокруг цветет, а в частных домах в садах готовят еду и запахи перца, жареного мяса, дыма мешаются с ароматами восточных цветов и кружат головы. И верные армейские друзья, с которыми мерз зимой посреди бескрайней степи, в сломанной машине, разламывая по-братски содержимое последнего сухпайка, и был счастлив от того, что нас нашли и вкусно накормили горячей гречневой кашей с мясом.

А степь за окном вагона сплошь покрыта огромными красными маками, и стук колес неумолимо отсчитывает мгновения нашей молодости, но мы не замечаем этого. И мы веселы, и с уверенностью смотрим в завтрашний день, и не знаем, что спустя двадцать лет, 3 октября 1993 года безоружного журналиста Сашку Смирнова, успешного уже к тому времени обзавестись тремя детьми, в столице нашей Родины расстреляет из автомата какой-то урод, защищающий с оружием в руках непонятно чьи интересы.

Когда политики дерутся за власть — убивают простых людей. И никакая армия не может спасти от этого. Распри внутри Отечества, когда свои бьют своих — что может быть страшнее и сокрушительнее для любого общества. Есть жертвы, но нет виноватых. Это патология государства. Времена меняются, меняются нравы, меняются люди. Но Россия осталась. Лежит она огромная, растянувшись по белу свету от березы у крыльца до бескрайних северных морей, до ставших чужими азиатских степей и пустынь, где ходил походами славный генерал Скобелев, русскими штыками добывавший славу Отечеству. И не кончится эта Россия никогда, как бы кому-то этого ни хотелось. Встряхнется она, сбросит налипшую грязь. Поправится. Жаль, что друг мой Сашка этого уже не увидит.

А я постараюсь дожить до этого момента, зря что ли нас в ленинабадской учебке выживать учили. Хотя с каждым годом в прекрасное будущее нашей Родины верится все труднее...



**Тина Зимина**  
(г. Новомосковск)



## **ПРОЩАЙ, КУРМЫШЕВО!**

*В 1971 году закончила историко-филологический факультет ТГПИ им Толстого, работала в школе учителем русского языка и литературы, заведующей Новомосковским музеем археологии. Автор более двадцати брошюр по краеведению и составитель литературных альманахов «Лик», «Литературные портреты», «Из Тульских дворян». В 2003 г. написала и опубликовала замечательную повесть «Гувернантка».*

Добромысл проснулся с восходом солнца. Выйдя из полуземлянки, он потянулся, хряснув суставами и разминая тело. Сквозь густые ресницы увидел солнечные лучики, светившие на его широкое лицо, с окладистой бородой и усами.

День начинался хорошо. Поселок просыпался. Одни его обитатели бежали к речке Проньке, чтобы умыться, другие, запасшись едой, готовились идти в поле и на сенокос.

Лето было жаркое. Нароботавшись в поле, вечером все бросались к речонке, на берегу которой пригулился поселок. Теплая, как парное молоко, вода принимала в свои влажные нежные объятия тела сильных рослых мужиков, справных баб, стройных девок, визжавшую от восторга детвору. Шум и гам на речке Проньке продолжался до тех пор, пока запах парного молока не загонял всех по домам.

Так в тихих, незаметных буднях проходила жизнь поселка на берегу ласковой речонки.

Постепенно поселок разрастался, но все остальное шло по издавна заведенному порядку: весна, лето, осень — работа в полях, на огородах, пастьба скота. Зимой ухаживали за скотиной, занимались домашними работами.

И все бы ничего, да периодически нападали на поселян разные недруги, и в результате рядом со светловолосыми голубоглазыми потомками Добромысла постепенно начали появляться темноволосые сероглазые и зеленоглазые поселяне, рожденные от тех, кто являлся незванным гостем.

Однажды пришли невысокие кривоногие, пахнувшие конским потом, они «гостили» дольше всех, нападая на поселение потомков Добромысла. Именно они назвали поселок Курмыш, потому что он растянулся вдоль берега реки одной улицей.

Шли годы, летели десятилетия, пронеслись столетия.

Курмышево разрасталось, речка Пронька весело катила свои неспешные воды между двумя берегами: одним — пологим, другим — высоким, каменистым.

Вот и Бугровка заселилась, дома лепились близко друг к другу, только между некоторыми были прогоны, ведущие на выгоны, где пасли скот, ставили стожки сена, копали ямы под картошку.

Курмышевцы жили вдали от городов, но все, что происходило вокруг, конечно,

не могло не влиять и на их жизнь. Менялись хозяева, которым поселяне платили дань или на которых работали с утра до ночи. Но Курмышьево продолжало жить с чередующимися горестями и радостями.

Так было очень долго. К началу века двух мировых войн в Курмышьево было уже больше четырех сотен домов. По праздникам разносились по широкой улице деревни смех, песни, задорные частушки.

Перед Великой войной запомнилось жителям событие: переход к коллективной жизни, в результате которого погибли два человека — один был убит кулаками, то есть теми, кто своим горбом и руками создали себе условия жизни, несколько отличавшиеся от остальных, а другой — поселянин — зарезался косой, чтобы не раскулачивать отца своего друга.

Остальные, соединив хозяйства, стали жить одной большой семьей, что не мешало им ссориться и даже не любить друг друга.

Руководили курмышьевцами, добрыми и доверчивыми, самые разные люди, по большей части пришлые и потому в деревне надолго не задерживавшиеся. Селяне верили словам и удивлялись делам руководителей, потому что они редко когда совпадали. И обижаясь на несправедливость жизни, не смели возражать против нее. Века рабства приучили их к послушанию и терпению, главным их достоинствам. После великих перемен в Курмышьево осталось сто дворов. Было это как раз перед Великой войной. И далеко от родных мест сгинули на ее страшных дорогах пятьдесят мужиков и парней из Курмышьева.

Закончилась Великая война всеобщей радостью и гордостью за Победу.

Но по-прежнему не было у курмышьевцев паспортов, а потому какой бы тяжелой ни была их жизнь, податься куда глаза глядят они не могли.

А как появились документы, удостоверившие их личности, начали курмышьевцы тихо растекаться по просторам, от их родной деревни далеко расположенным. Кто бежал в столичный город, кто в областной либо районный, в общем осталось в Курмышьево 27 дворов, да и в них-то в основном одни старики.

И пришло время, когда в деревне насчитать можно было меньше курмышьевцев, чем на кладбище, которое находилось недалеко за конским провалом на высоком мысу над речкой Пронькой. Там в строгом порядке и тишине лежали предки селян, безмолвие царило над погостом, изредка нарушаемое внезапно налетавшим ветром да вороньим граем.

Всю жизнь горбатились теперешние обитатели этого скорбного места на земле, лелеяли и кохали ее из последних сил, и она платила им ответной любовью и хорошим добрым зерном. А теперь лежали пахари и косари с грыжами, надорванными жилами, изболевшимися сердцами и ничем не могли помочь родной земельке.

На большие праздники приходили на кладбище их дети, внуки и правнуки. И тогда кладбищенская тишина нарушалась громкими разговорами, звоном поминальных стаканов, а то и плачем с причитаниями.

А потом все снова затихало. Шли годы. С каждым новым из них все больше стариков-курмышьевцев оказывалось на крутом берегу реки. Там они встречали восход солнца и провожали его на запад, их простоватые лица на портретах так же, как и при жизни, удивленно взирали на мир с деревянных крестов.

Но вот исчез маленький сельский магазинчик, куда раз в неделю привозили хлеб и нехитрую снедь, помогавшую селянам выживать. Шесть, четыре, три... дома. Когда осталось только два и кто-то срезал электрические провода, последние четверо курмышьевцев покинули родные места.

И тогда накинута на Курмышьево молодая лесная поросль вместе с огромными лопухами и репейниками.

И через несколько лет с Бугровки, с которой Курмышьево когда-то просматри-

валось все, можно было с трудом различить в поглотившей все с жадной ненасытностью плотной зелени три-четыре крыши, а все остальное было уже не рассмотреть.

Заросли тропинки, по которым сотни лет шлепали босые ступни курмышевцев, с трепетом ощущая жар и прохладу родной земли. Исчезла и проложенная по центру дорога с глубокими колеями, по которой когда-то ездили телеги, потом ходили грузовые машины, ползли, тяжело переваливаясь, тракторы с прицепами.

Над Курмышевом повисла немая тишина. Ни звука, ни эха. Только лягушачий хор на речке Проньке по-прежнему задавал свои концерты, хотя слушать их было уже некому.

Да и речонка постепенно зарастала кустарником, образовавшим многочисленные острова и островки, все больше напоминая не прежнюю веселую звонкую Проньку, а тихое покойное болото.

Ночами бледная, безразличная к земным делам луна освещала странный дикий лес, образовавшийся там, где когда-то раздавались человечески голоса, бляение скота, петушиные крики.

Старые деревья на выгонах тихо перешептывались о чем-то своем, только им понятном, может быть, вспоминали прежнюю шумную и веселую курмышевскую кутерьму.

А молодой лес, захвативший в плен уже разваливающиеся домишки, набирал силу там, где широкая дорога когда-то делила курмышевские дома на два порядка.

Прошло еще несколько лет. О Курмышеве напоминала теперь только полуистершаяся табличка на ветхом столбе, а потом и она исчезла.

Заросло старое кладбище и дорога к нему, и уже ничто не напоминало о том, что сотни лет здесь жили люди: рождались, росли, любили, страдали, работали и удивлялись — весенней зелени, летней грозе, зимней вьюге.

А умершая деревня все больше походила на огромную братскую могилу, каких еще немало на Руси, никому не нужную, заброшенную могилу на кладбище безжалостной истории.

Прощай, Курмышево, покойся с миром!



**Александр Миронов**  
(п. Товарково Калужской обл.— СПб)



*Печатался в сборнике калужских писателей, посвященном 55-летию ВОВ. В журналах: «Костер», «Ясная Поляна», «Крестьянка», «Работница», в «Роман-журнал XXI век», «Пограничник», «Воин России», «Молодая гвардия», «Аврора» —*

1\09, 2\10 гг., «Клуб» — сказ-поэма (в стихах). В сборнике лауреатов лит. конкурса им. В. М. Шукшина «Светлые души», «Литературная Россия», Литературном Альманахе «ЛитРос» в сборнике «Неизвестные войны XX века» того же издательства, в «Сударушке». Есть детская книжечка «Увеличительное стеклышко» изд. «Золотая Аллея» г. Калуга

## СОБАЧАТИНА

Недавно с мясом перебой случился. То ли налоги сельских производителей задушили, а те, в свою очередь,— свою живность? То ли просто очередная недоработка на местном уровне?.. Но, так или иначе, а мяса в магазине нет.

— Как пятнадцать лет назад! — выругался Петя Лапкин, направляясь на местный рынок.

Но и там не обломилось. Один единственный продавец, предприниматель, был и тот весы упаковывал.

— Вы, граждане, через денек-другой загляните,— успокаивал он покупателей.— Через день-два я еще баранинки привезу. Потерпите.

Потерпели. Заглянули. И вот стоят. И Петя Лапкин тут же.

Очередь так себе, небольшая, может человек двадцать-тридцать. Охотников до баранинки еще мало. Куражатся. Ножками Буша довольствуются.

Лапкин стоял где-то в середине и был доволен местом нахождения. На этот раз уж не пролетит, купит баранины. А что? Чем не мясо? Не хуже залетных, зарубежных окорочков. Тут хоть видишь что и какое, а те? — мороженные-перемороженные, белесые до синевы, как надутые. Петя Лапкин дернул брезгливо носом. Душа к «бушатине» у него не очень-то лежала.

Если честно, то он и баранину не очень. Так уж, по необходимости. Как вот нынче. Жизнь заставляет. Да и своих двоих, не считая, жены и тещи, чем-то кормить надо.

Перед Петей стояла бабулька, маленькая, интеллигентная с виду, в поношенном пальтишке. Котенка на руках держит. Котенок серый и воротник у бабульки серый, и он трется мордашкой об него, как о кошачий бок. Бабулька поглаживает его, нашептывает ему что-то, и они мурлычут друг с дружкой, ласкаются. Мило так, родственному, как кошечка с котенком.

Сзади Пети тетенька стоит. Он раза два с уважением глянул на нее и притих, словно придавленный. Монумент: плечи — во! Руки — во! Грудь... И ростом — с телеграфный столб. Смотреть страшно. Перед такими авторитетами он всегда испытывал робость — не в пример той мышке, что копы не боится,— и всегда таких женщин про себя называл тетеньками, с детства. А у этой еще усы были, не то, чтобы большие, но заметные. На подбородке пушок. Тетенька мало знакомая. Сейчас много переселенческих, всех не запомнишь.

А в очереди разговорчики. Про колбасу, по цене — сказочной. Про сыр, от которого в семейном бюджете дыр больше, чем в самом сыре. Кое-кто уже про времена застоя стал поговаривать, про границу. И тогда тетенька, что сзади Пети Лапкина, нет-нет, да и подаст голос.

— Что граница? Вы этой границе сильно-то не завидуйте. Там тоже, не шипко-то...

А бабулька ей мягко так, по-кошачьи, промурлыкала:

— Натерпелись люди, по жизни-то по человеческой наскучались, вот и мечтают.

— Ха! Что мечтать? Граница к нам, вон, сама на крылышках Буша летит.

«Где они, эти крылышки? Тю-тю...» — тут и Петя хотел высказать свою версию по этому поводу. Мол, самолеты НАТО их вместе с бомбами на Югославию сброси-

ли... Но сдержался. Постеснялся. Был бы поддатый, а так...

— Поедим эту отраву, и мечтать совсем нечем будет,— заметила бабулька.

— Пошто отраву? Пошто отраву?! Очень даже и ничего ножки. И наших подешевше.

«Подешевше,— согласился Петя.— На них только и жили, перебивались».

Тут продавец вмешался.

— Вы, граждане,— говорит,— на ножки заграничные зуб-то не точите. Сказывают: их еще с птенячьего возраста на иглу содют.

— Что «сказывают»,— оживилась бабулька,— я сама читала. Цыплятам этим уколы делают, и они от этих инъекций в весе быстро набирают. Их до срока забивают и к нам, в Россию.

— Ха! Напишут, верь им...

— А вы не верьте. Ваше дело. Правда, Мурзик? Только я из принципа их не покупаю. Даже моему мальчику.— Бабушка погладила котика.— Пусть сами едят эту гадость.

— И правильно делаешь, бабка! — воскликнул продавец.— Нас надо, местных предпринимателей поддерживать.

И с ним все согласились. Хотя тетенька, что сзади стояла, сказала:

— Так если бы ваших продуктов побольше было, чем заграничных, кто бы был против? У вас бы и брали.

— Вот именно! — поддакнули в очереди.

— Ничего, дайте только нам на ноги встать, развернуться. Мы потом и Буша-папу и Буша-сына своим мясом кормить станем, калорийным. И за уши не оттянешь. Во!.. — Продавец подкинул шмат в руках и расхохотался, и его поддержали.

— Так сколько же вас ждать? Двадцать лет ждем.

— Двадцать лет ждали, что, еще десять лет не подождете?

— Десять? Вряд ли,— усомнилась бабулька.— За десять лет нас уже в таком виде, как есть, не будет. Человеческий облик потеряем.

— Это еще почему?

— Деградируем.

— С чего бы это? — подала голос тетенька.

— От тех препаратов роста, что впрыскивают цыплятам.

— Ну?!

— Они, твари безмозглые, им все равно от чего расти, от чего окорока наедать, да только человеку такое мясо во вред.

Народ насторожился.

— Эти препараты,— стала разяснять бабуля,— разрушают иммунную систему в человеке, производят гормональные нарушения. У женщин может голос грубеть, усы расти, бороды. У мужчин — груди. Кости размягчатся, волосы выпадать и не только на голове.

Ого! Лапки мысленным взором обежал свое плоское тело и успокоился: волосатость как будто бы не пострадала еще, грудь не выпадывает из майки, наоборот, впаляя. Даже обрадовался. Оглянулся.

Тетенька, что сзади него стоит, губой волосатой дергает, на подбородке волосики пощипывает. И как будто бы глаза помутнели, словно бабулька намек неприличный в ее сторону сделала; мол, вы, голубушка, уже деградируете, факт на лице, и голосище — любой паровоз перекроете...

— А главное, от этих препаратов у человека в мозгу нарушения происходят. Дебилизм развивается. Евросоюз от этих ножек и крылышек давно отказался.

— И правильно! — заявила тетенька сверху.— А мы жрем, что попало, потом скотинею.



— Мутируем,— поправляет бабулька.

— А я чо говорю? — воскликнул продавец.— На рынок ходите, граждане, на рынок. За живым, за свежим мясом! — бросил окорочек на тарелку весов.— Во! Как в аптеке. От сорока болезней мясо. Верьте слову.

И все вновь его единодушно поддержали.

— Вы знаете, сколько бомб Америка на Балканы сбросила? — спросила бабуля.— Э-э...— и осуждающе покачала головой, как Пете показалось, на бестолковость людскую. Перед умными женщинами Петя тоже робел и уважал их.— Ровно столько, сколько этих крылышек было заброшено в Россию. Только там, в Югославии, людей за раз истребили, а нас постепенно-постепенно, через продукты питания...

— О-го-го! — проржала возмущенно тетенька басом, и люди, что за ней стояли, тоже подвывают стали. И Петя Лапкин едва не заскулил в общем хоре. Почувствовал, как сатанеет от такой подлючей любезности со стороны наших новых друзей по капиталистическому сообществу.

А продавец стал успокаивать.

— Если вы, граждане,— говорит,— у меня мясо будете брать, то ни одна холера вас не возьмет. Верьте слову! Оно и от дебилизма, и от шизофренизма и прочего онанизма излечит. Честно слово! А вот от волосатости — не скажу. А впрочем... — Покрутил шмат на вилке.— Мясо, гля, какое... — и отчего-то оскалил зубы, как кот на собачатину, промяукал: — Мя-у!

Народ одобрил хозяйское мясо смехом.

— Мы же эти бомбочки им и окупим,— продолжала бабуля.— Крылышками, ножками и прочими частями куриных тел, если покупать их будем. Еще и фонд какой-нибудь откроем, имени Буша. Потому что из нас уже дебилов сделали. Уматое не стало.

Тут тетенька хлопнула себя по боку, и Петя уловил запах нафталина.

— Вот что творят проклятые капиталисты с угнетенными народами! — Похоже, назревал митинг протеста.

— Ага, нашли дураков! — слышались голоса уже за спиной тетеньки.— Раскатали губищи!

— Пушай вначале закупят ГЗМ — губо-закаточную машинку.

— Не-ет, мы еще не совсем...

— Вначале Балканы, потом нас долбить будут.

— Нас бомбить не надо,— успокаивает бабуля,— нас постепенно изводить надо, травить, дешевле обойдемся, потом — бери голыми руками. Или отлавливай сетями, как собак чумовых.

Предприниматель как-то не к месту по-собачьи взвыл:

— У-у-у! — и рассмеялся.

Но на этот раз его никто не поддержал. Тоску наваял этот вой, а не смех. Тут его юмор не оценили.

А тем временем за разговорами очередь продвигалась. И Петя в растрепанных чувствах подходил к прилавку.

Прилавок чистый, его мужик время от времени протирает тряпкой. Хозяйственный, чистоплотный, к такому продавцу и в другой раз подойти не побрезгуешь.

На прилавке противень, весы со стрелками, с двумя гирьками. Универсальные. Компьютер. Мужик бросит кусок на тарелку, и стрелка тут же покажет: сколько и почему. Продавцу только озвучить остается вес и цену:

— Три кило. Пять... — а дальше, страшно даже цену называть.

Петя, в который раз в кармане рубли металлические перетирал: хватит — не хватит? — гадал.

Мяса мало. Петя вначале, как к прилавку подошел, даже забеспокоился: опять, как в прошлый раз, получится! Пришел, повидел, глаза напилал...

Но нет. Мужик, как только в противне заканчивается мясо, раз и подложит его откуда-то из-под прилавка. Раз и подложит. Косточки, когда окорочек. И уж совсем Петя успокоился, когда бабулька стала мясо вилкой поддевать. Теперь-то уж точно достанется. Много ли бабуле надо, даже на двоих с котом?

А бабуля мало того, что шибко грамотная, так еще и дотошной оказалась.

Подцепит кусок на вилку и рассматривает его. То одним боком повернет, то другим. Прямо, как за границей. С куражом. С капризом. Смотреть тошно. Хватала бы мясо, какое попало, да отваливала. Так нет, она еще принохиваться стала.

И котик стал принохиваться. Носом раз-другой потянул, да как зафыркает! Как зашипит! И заскочил по воротнику бабкиному ей на шею. Та шмат бросает и за кота.

— Кис-кис! Ты куда?! — за хвост со своего загривка стаскивает. А киса аж из себя из собственной шкурки выворачивается. Глаза бешенные, пасть красная, когти... — того гляди, Пете в лицо вцепится.

Лапкин от него в сторону отпрянул с испугу.

Тут тетенька, что сзади стоит, как заревет дикой блажью, от которой, наверное, весь базар содрогнулся:

— Сво-оло-очь!!

Петя так и присел. Думал, этой тетеньке, невзначай, на любимую мозоль наступил. Даже, кажется, и подумать так не успел. Сжался, съежился, затих.

Что тут началось... Петя не видел. Только услышал: шлеп! шлеп! шлеп! Думал, его бить начали. Но боли не чувствует.

Приоткрыл вначале один глаз, ничего понять не может. Открыл второй. Видит, — как в замедленном кино, — как тетенька, через него перегибается, берет из противня мясо и швыряет его со всего маху в продавца. Продавец мужик дородный, с крупной мишенью на плечах, и тетенька бьет по его морде без промаху. Тут еще тетеньки подскочили. Там — другие. Гвалт, брех, крик на весь базар.

Мужик по палатке мечется, кричит что-то, воет. А его никто не слушает.

Кто брешет:

— Убить его мало!

Кто рычит:

— Подать его сюда! Я его сама собачатиной кормить буду!..

— У-у!.. А-а!.. О-о!.. — лай, одним словом.

Бабулька прижала котенка к воротнику, и орет. И котик орет. И Петя Лапкин заводится начал.

— Так его! — рычит. — Живодер! Предприниматель собачачий!

Мясо с противня берет и тетеньке подает, как второй номер боевого расчета. А та — по цели прямой наводкой.

Словом, толпу, как собачью стаю, только раззадорь.

Ну и точно, долаялись.

Откуда-то милиционера поднесло. Лапкин его вообще впервые видит, такого придурка. Обычно многолюдье они не предпочитают, а тут ненормальный какой-то, сам в толпу лезет.

— Прекратить! — кричит. — Прекратить, граждане!

Паразит! На самом интересном месте прервал. Тут бы самое время пособачиться, злоба так и прет наружу, шерсть, какую есть, дыбом топорщит.

— Граждане, в чем дело? За что продавца мясом бьете? — спрашивает милиционер.

— А он, паразит, собачатиной торгует! — шумит народ. — Псиной вместо баранины..

— А вы почему знаете?

— А вон, бабкин кот признал. Зафыркал.

— Ну и что, что зафыркал? Мало ли отчего животная эта зафыркать может?

— А кошку на собачатине не проведешь! Она ее за версту чует. И по мясу, и по шерсти.

— Глупости. Вы сами озверели! Э-э, рожи-то какие, на людей не похожи. А ну, дядя, покажь мясо!

Продавец нырнул под прилавок.

— Вот,— скулит,— пожалста. Очень даже хорошее мясо. Баранинка. И вовсе собачатиной не пахнет.

Милиционер повертел мясо на вилке, понюхал и пожал плечами. Хм, дескать, мясо, как мясо...

— Вы коту под нос подпихните. Под нос...

Подпихнули. Котенок потянул носом, мякнул и... вдруг в шмат зубами и когтями вцепился. Жрать его начал.

— Мурзя! Мурзик, ты чегой-то?! — изумилась бабуля.— Это ж собачатина!

Тут продавец взвился.

— Сама ты собачачина!!! Граждане, поклеп! Вы кому верите, ему? А мне, честному предпринимателю, нет! — и стал рвать на себе фартук.

Очень уж тут неудобно всем стало. Если по-человечьи, даже паскудно. До чего, действительно, оскотиниться можно. Петя Лапкин за тетеньку зашел, спрятался. И, вообще, сбежать хотел от такого срама. Да куда ж без мяса-то?

А милиционер говорит:

— Граждане, я вынужден этого кота арестовать.

— Правильно! — выдохнули граждане.— За клевету.

Бабуля в слезы.

— Не отдам! Это мой котенок!

Милиционер тут к ней обращается:

— Тогда вместе с ним пройдемте.

Толпа враз расступилась, дескать, вводите их отсюда к чертовой матери!

А продавец морду фартуком утирает и к милиционеру тянется.

— Эй, эй, господин, то ись товарищ милиционер, мне так не надо! Пусть эта бабка сначала все мясо оптом скупает за такое надругательство. Его вон сколь поизволяли по полу. Кто его теперь покупать будет?

Тут толпа несогласие выражать стала.

— Как это так? — возмущаются.— Почему это все ей? Не жирно ли будет?

И опять гвалт. Бабку — ведьмой, кота — придурком обзывать стали.

А котенок оголодал будто. Видно, после китекета и вискаса на мясо потянуло. Мясо в лапах держит, жрет его и от себя не отпускает. Весь воротник бабульке извозил.

Продавец видит такое дело, что может бесплатно и кусок потерять, стал с бабульки плату требовать.

— Тогда пусть бабка мне за этот кусок деньги платит! В нем не меньше трех килограмм, а может, и все пять было?

Бабуля огрызается:

— Не буду платить! Это собачатина!..

— Не верьте ей, граждане! — перекикивает ее продавец.— Вы только посмотрите! Вы только обратите внимание, как ее животина эту собачачину мечет! Разве коты жрут собачье мясо? Они его на дух не переносят. Они на него фыркают. Поклеп! Какому-то бешеному коту поверили, а мне нет! Да я после такого раза на рынок к вам и носа не покажу...

Тут гром-баба запыхтела от негодования, видно, за прошлое бабкино оскорбление, по поводу ее мутации, грудью, как асфальтовым катком, на бабулю поехала.

— Подите-ка вон отседа! Вместе со своим котом, извольте! Он у тебя ненор-

мальный. То фыркает на мясо, то жрет его без памяти.— И народ за ней подался.

— Люди-и! — пищит бабулька из-под тетеньки.— Он у меня еще маленький. Он еще неопытный, ошибиться может...

— Ага, он ошибиться может! А я из-за него, вон, всю харю этому лицу разукрасила. Из-за твоего кота сама себя и людей в какой конфуз ввела. Ошибся он, ха!

— Катись, катись отседова!

— Ходят тут разные, наводят тень на плетень до умопомрачения. В заграничных окоороках дебилизм обнаруживают, на рынке — собачатину.

— Умники! Видали мы таких...

— Пшла вон!

Выдавили бабульку из очереди совместными усилиями и прекратили собачиться. Опять в очередь встали. Успокоились. Глаза друг от друга прячут.

А очередь Пети Лапкина. Стоит, мнетса перед прилавком. Вилкой в шмат, какой получше, целиться. А решиться не может. Уж люди роптать стали, тетенька с боку стоит, усом дергает, того гляди взбесится.

А Петю как заклинило. Не хуже бабки стал к мясу придираться. Смотрит на него, в глазах слезы, а изнутри воротит. Глянул на продавца, а у того рожа бурая, глаза красные, зубы желтые... Так и хочется фыркнуть на эту собаку.

И фыркнул. Ушел из очереди.

Пошел домой на ватных ногах. Вот они, инъекции Бушевой курятины, как на нас сказываются — кости размякли!

А чем ближе к дому, тем больше одолевать сомнения стали: может, зря фыркнул? Может жена, дети поели бы? Та же теща, дай Бог ей лет до ста дожить, а то и дольше. Не ее б пенсия, так и этой собачатинки взять не на что было бы. Да и себя перестраивать как-то надо, хватит куражиться. Сказывают сведущие люди, что полезная она, собачатина, для здоровья в особенности. И, вообще, злости прибавляет, по себе чувствуем. Вон, давеча, как распалился, готов был сам на продавца кинуться, в глотку вцепиться, как пес бешенный.

Тут Лапкин вспомнил про дебилизм и про бабульку и стукнул себя кулаком по бедру с досады: вот старая! Поднесла ж тебя нелегкая со своим придурком котом! Теперь будешь на всякое мясо фыркать.

Он издал звук, напоминающий брех, скрипнул зубами. Развернулся и решительно пошел обратно на рынок, за собачатиной.

И опять опоздал. Не досталось. Продавец весы упаковывал.

— Вы, граждане, приходите через день-другой,— говорит,— я еще мясца привезу. Свежего...

### **НЕЧИСТЬ ОГОРОДНАЯ**

Дед Кузьма Кузьмич, или Кузя Кузич, с утра собирался копать картошку. Еще с вечера приготовил кули, ведро, лопату. Сложил в кирпичном сарае, который находился на окраине поселка среди гаражей. Но, как назло, хоть и рано поднялся, а в поле не ушел. Боли в пояснице то намерение изменили. Едва к полудню раскачался.

— Кузич, ты уж седня-то не гоношился б,— отговаривала Вера Карповна, жена его.— На неделе когда б... Мне, глядишь, полегчает.

— Нет, мать, пойду. Покопаю, сколь смогу. Седня мешочек, завтра другой, послезавтра. Так, глядишь, и выкопаю. Не то кто другой подсобит. На фордопедке привезу мешочек, не надорвусь.

Боялся старик, что на их огород тоже нападут жучки, как на некоторые соседские участки. Но жучки не колорадские, от которых хоть как-то, с трудом, с помощью химических препаратов, справиться, однако, можно или, на худой конец, простым сбором личинок с кустов. А воры — жуки-бекарасы, как называл он,— против которых нет других способов, как бить на месте и насмерть. Да и тут еще вопрос: приши-

бешь, самого же и посадят, за свое собственное. Или, от греха подальше, выкапывать картошку раньше срока от чужого соблазна и для собственного спокойствия.

Как можно лезть в чужой огород и копать чужое? Может у этого человека на эту картошку последняя надежда? Об этом они думают? Вот оббери их с Карповной, и все — ложись и заживо помирай. Убийцы, да и только. Тут пенсия — хуже милостыни, да еще молодым пособляешь, сидят без зарплаты, и без картошки!.. Эти твари пострашнее колорадских жуков, личинок майского жука, проволочника и прочей напасти вместе взятой.

На днях Архип сказывал. Дескать, сын его, Вовка, на мотоцикле приехал со своим парнишкой к себе на дачу. Копают. Вдруг подъезжает КАМАЗ-самосвал, выходят из него трое с лопатами, и на дачу соседа. Тоже копать приладились.

«Вы что это, ребята, заблудились? Это же не ваша дача?» — говорит Вовка парням.

«А ты, мужик,— говорят,— помалкивай. Не то самого копать заставим, и не в свои мешки».

А Вовка не сробел. Вытащил из люльки бутылку с бензином, энзе неприкасаемый, и к ним.

«Если, говорит, вы отсель не уберетесь, я этой бутылкой об машину и подожгу».

Те было к нему, а он и замахнулся. Ну, те пошептались промеж себя, в машину и отъехали на другой край поля. Там пристроились. И без номеров машина. Не узнаешь — чья, откуда?..

Вот и помешкай. Останешься без картошки.

Бабка Вера Карповна прихварывала. По дому еще ходила, а уж в поле идти не осмеливалась. Да и дед не велел. Оберегал. Сам же гоношился. Хотя при таких болях, обычно, откладывал всякие дела и ложился под горячие кирпичи — первое дело. А уж после — мази. Но тут, словно кто подгонял сзади.

К полудню Кузьма Кузьмич, поскрипывая на своем «фордопед», как он в шутку прозывал велосипед, покатил в поле. В пояснице тоже поскрипывало, потягивало тихой и нудной болью.

К раме была привязана лопата, к багажнику — ведро и мешки. Взял все же семь кулей, зять с дочерью обещались к вечеру подойти. Может сегодня, и закончат все пять соток.

Огород его, по-местному — дача, находился километра за четыре от поселка, среди других таких же огородов, засаженных картофелем. У кого — и капустой, морковью на грядках. У некоторых даже парнички, теплички стоят. У тех, у кого, видать, есть время караулить и здоровье позволяет.

На поле почти никого не было. Участки были не огорожены, только кое-где торчали колышки или столбики. В метрах полутора от основной дороги стоял грузовик «КАМАЗ», и аккурат там, где была его дача.

«Наверное, сосед тоже решил картошку выкопать? — подумал дед. И обрадовался: — Может, и мою вывезет за одно?»

Съезжая с дороги на свою улочку, ударил по тормозам.

Ах, мать честная! Да это ж его картошку копают! Ошибся Костя, что ли?..

Присмотрелся, нет, не сосед. И не его ребята, незнакомые.

Мелькнула страшная догадка. Ах, растуды-сюды!..

И едва не бросил руль от растерянности. Сошел с велосипеда.

На участке стоял мешок, наполненный наполовину, и двое парней. Один был в голубой футболке местами в пятнах от мазута. Другой — пониже ростом, и в светлой майке с каким-то чудовищем впереди, во всю грудь и живот. Он ссыпал из ведра картошку. Клубни были крупными — старик заметил.

И у него занялось сердце — такая картошка! Да они что, совсем что ли?!.

«Ну, я вас!.. — взвился дед, и стал торопливо отвязывать от велосипеда лопату.—

Ну, бекарасы, сучьей расы!..»

Парни приостановили работу при появлении на дорожке человека. Он шел на них с лопатой в руках, как в атаку. Тот, что ссыпал картошку, с чудовищем на груди, отвел руку немного назад, держа ведро за дужку,— понятно, для замаха. Отчего и зверюга ужасный широко и хищно окрысился. Второй подельник, бросив пройму мешка, отступил к своей лопате, воткнутой в землю. Оба не показались смущенными, оробевшими. И тот, что подался к лопате, криво усмехнулся, похоже, вид шуплого, приземистого и седого человека его не испугал, а скорее даже насмешил своей воинственностью.

Они встали друг против друга — двое и один — и молчали.

Прошло секунд десять-пятнадцать. Но это было такое время, за которое деда Кузю не раз окатило и холодной и горячей волной.

Наконец дед выдавил из себя осипшим голосом:

— Ну, как картошка, ребята?

— Да ничо, копать можно.

— А это... мне можно?

Ребята оживились.

— А мы думали, ты хозяин!

— Не... Я так,— и замигал глазом, зачесался,— подкопать...

И тот, что стоял с ведром, тоже подмигнул, как подельнику. И зверь на его майке как будто бы тоже расслабился, прикрыл оскал.

— Да, пожалуйста,— сказал он, обернувшись на товарища,— нам не жалко.

— А-а откуда, это, начинать? — и, что самое удивительное, отчего-то спросил пониженным голосом, заговорщицки.

— Да где пристроишься.

Фу-у... Кузя Кузич облегченно вздохнул, прокашлялся. Смахнул с глаз слезу.

Ну что же, раз драться не стал, надо по-другому как-то. Картошка-то не чья-то, своя, выручать хоть что-то надо.

Дед осмотрелся. Парни копать начали недавно, только второй рядок распочали. Значит,— раз, два, три... — чтобы накопать два-три мешка, им понадобится шесть-семь рядков, прикидывал дед. А вдруг они размахнулись кулей на десять? Картошка-то, эвон какая! Что ни куст — полведра.

Тот, что вынимал ее из лунки, заезжал в землю растопыренными пальцами, как вилами, и вынимал в пригоршнях гнездо,— клубни не помещались в них. Тут же отсеивал: мелкая — обратно наземь, а крупная — в ведро. Ой-ей! Так весь огород перепашут. Оставят на зиму без картошки!..

Кузьма Кузьмич прошел к седьмому рядку и воткнул в него лопату.

— Ребята, если я отсюда начну? — спросил он, с силой надавливая на заступ лопаты ногой. Словно утверждая границу, от которой, чувствовал, не в силах сдвинуться.

Пока находились в воинственном противостоянии, в голове мелькнула одна-единственная, как показалось, здравая мысль, и он последовал ей. По другому — значит, биться насмерть. Так они не уйдут. И кому здесь больше достанется — это и гадать не надо. На твоём же поле и закопают. Теперь он был одержим другим — лишь бы они не заподозрили в нём хозяина этого поля.

Парни на его вопрос оглянулись, оценивающе осмотрели отведенный им участок, прикинули, видимо, что будут иметь с него, и тот, что подкапывал лопатой, согласно кивнул:

— Валяй.

Второй подакнул:

— Не хватит — найдем, где подкопать.— И зверь на его груди как будто миролюбиво улыбнулся.

И они принялись за прерванную работу.

Кузьма Кузьмич хмыкнул, глядя на их спешку, и со злорадством заметил: «А побздехивают, однако, бекарасы...»

Дед сбегал к своему «фордопеду», подкатил его ближе к даче, к КАМАЗу, и стал торопливо отвязывать от багажничка ведро и мешки. Как на зло, с чего-то затянулся на веревке узел. Еле распутал, язви его! Вернулся и схватился за лопату.

В молодости он обычно подкапывал сам, собирали картошку жена и дети. А их у него трое, но рядом, то есть в поселке, живет только дочь с зятем, с двумя внуками (еще малыми, один только-только пошел в школу). Теперь же подкапывал зять, или кто-нибудь из сыновей, приезжавших к этой поре на помощь, а он уже занимался подбором клубней, ползая на четвереньках. Они бы и в этот год приехали, потерпи дед с копкой недельки полторы.

Да где там, потерпишь тут. Вона как пластают, жучки-бекарасы. И ничем не сгонишь, никакой отравой. Может подкрасться, да вдарить сзади лопатой по шеем?..

На этот раз дед копал картошку и собирал сам.

И как копал! Скакал по грядкам, как кузнечик. Копнет лопатой и тут же падает на четвереньки. Копнет — и на четвереньки. И руками, руками...

После двух ведер, которые вначале набирал, стал клубни вываливать на бровку между рядами. Потом собирать будем! Потом...

И копал, копал, исходя потом, едва не скуля от отчаяния. Так он никогда не копал: ни в молодости, ни в зрелом возрасте, не чувствуя ни усталости, ни боли в пояснице. Враз отлегло.

Так прошло около часа, может чуть больше, дед как-то не сообразил засесть время, но по солнышку — около того. И тут увидел, что парни как будто бы закругляются. Три мешка нагрели. Стали их в машину, в кузов забрасывать.

Будут еще капать или нет?

Дед призамедлил свою работу? Стаял на коленях и глаз с них не спускал.

Забросив последний мешок, парни повернулись в его сторону. Чему-то усмехнулись, о чем-то переговорили и направились к нему. И со своим ведром.

Неужто за его картошкой?.. Шли обочь участка, посмеивались. А у него подрагивали губы, готов был расплакаться от бессилия перед вероломством. Вот это бекарасы! У-у-у...

— Ну, дед, ты и даешь! Ну и наворотил! И картофелекопалку не надо. Что, решил весь рынок завалить картошкой?

— Во, конкурент! — воскликнул тот, что заведовал ведром, и на груди чудовище как будто бы тоже ощерилось.

— А что в мешки не собираешь?.. Помочь? — спросил второй, повыше, в замазученной футболке.

Кузя Кузич аж обсел на задницу. Рот раскрыл, а сказать ничего не может. То ли от усталости дар речи потерял, то ли так тронуло дружеское участие?

— Ладно, давай по-быстрому поможем, и сматываемся. Иди, держи мешки.

Пока копал, усталости вроде не чувствовал. Тут же все суставчики захрустели, поджилки затряслись. В спину опять радикулит ступил, язви его.

Ох-хо, вот наказание!..

Парни двумя ведрами, своим и его, стали собирать картошку.

— Тебе как, с мелочью?

— Крупную, крупную... — хотел добавить, что мелочь он потом соберет, без их помощи. Но смолчал.

Встав на ноги, он оглядел участок и немного успокоился. Парни выкопали меньше сотки, даже не дошли до его рядка, с которого он начал копать. И удивился: вот это да, — он, один, вдвое больше перекопал, чем они на пару!

Мешки он сам завязывал, не стал обременять парней, хотя пальцы едва сгиба-

лись.

И, оказалось,— напластал как раз семь мешков! Как задумывал! И помощь сыновей и зятя не понадобилась.

— Ну и ну, дед! С тобой можно на дело ходить, не прогадаешь. Тебе домой? Или сразу на рынок?

— Нет, домой. Там уж... — неопределенно махнул рукой, дескать, видно будет.

— Ну, давай, подвезем, так уж и быть.

Парни, как и свои, лихо забросили его мешки и велосипед в кузов.

Поехали.

Дед Кузя Кузич сидел в середине, между парнями, и смотрел рассеянно на дорогу. И чему-то усмехался, мотал головой, словно стряхивал с нее паутину.

— Вы-т, наверно, сразу на рынок? — спросил он.

— Нет,— ответил водитель, тот, что подкапывал лопатой, и стал объяснять со знанием дела: — Такой товар, дед, надо лицом показывать. Сейчас домой, в ванной обмоем, на балконе просушим, а завтра утречком на рынок.

— Сами торгуете или помогает кто?

— Помогает. Самим некогда.

«Оно понятно, чем заняты»,— усмехнулся дед, и почувствовал, как этот смешок шевельнул в нем какое-то странное чувство, напоминающее зуд, только внутренний, где-то под желудком, отчего захотелось хохотнуть и икнуть одновременно.

Икнул. А смешок тот попытался заглушить матерком. Пожевал губами.

— И не жалко вам тех, у кого картошку выкапываете? — в голосе деда прослушивались нотки душевной боли. Но его оборвали.

— А тебе?

— А что мне? — не понял дед.— Я...

— Хма, мы не ты. Мы совесть имеем,— сказал парень на пассажирском сидении.— Мы полностью участки не выпаживаем. Два-три мешочка и шабаш. Людям тоже жить надо... — И посмотрел на деда не совсем дружелюбно, чем-то напомнив взглядом своего зверя.— Это ты, вон, как оборзел. Ископал у людей весь участок.— И отвернулся.

Дед на полуслове поперхнулся.

Ха! — его же и отлаяли. Ты смотри, какая сознательность...

Крутанул головой и почувствовал, как злость и негодование на парней как будто бы приугазли. На глаза даже отчего-то слеза выступила. И эти чувства еще больше обнажили внутренний зуд. Кузя Кузич, задавливая подпирающий хохоток, наполнился воздухом и выпустил его неаккуратно.

Пассажир посмотрел на него, но мягче, дернул уголком губ.

— Что, старый, расслабился?

— Ага,— шмыгнул носом Кузя Кузич и спросил, чтобы как-то отвлечься от своего внутреннего состояния: — Машина с ремонта или только что купили?

— Да нет, старая.

— А че без номеров?

— Хм, посмотришь на тебя, старый, вроде бы не новичок в картофельных делах, а таких вещей не понимаешь. Кто ж на дело идет с номерами? Сейчас вот и повесим.

Выгружали картошку у сарая. Даже внести помогли. Тот, что отлаял, снисходительно посоветовал напоследок:

— Ты, батя, (Ага, сынок нашелся!) больно-то не наглей, совесть имей. Постольку с одного участка не копай. Поймают — больно бить будут. Ты на руки хоть и шустрый, да на ногу можешь не поспеть,— хохотнули.— Ну, пока. Не поминай лихом.

На прощание «чудовище» на майке парня как будто опять ощерилось в хищной усмешке и подмигнуло глазом.

И укатили. Оставили Кузю Кузича в смешанных чувствах.



Воры, паразиты, жуки-бекарасы! — а вот, вишь, как. Прибить их мало, и в то же время рука не поднимется, вроде бы и не за что: и картошку ему нагребли в кули, и подвезли, и отчитали. Все как будто бы по совести и в меру.

Как с ними бороться? Шел домой, смеясь и плача.

— А никак, — сказала Вера Карповна, когда он рассказал ей, как вместе с бекарами у себя самого картошку воровал. Он лежал на диване, а она ставила ему на спину, на вафельное полотенце в три слоя, нагретые на газовой плите два обломка кирпича. От ударного труда на воровском поприще радикулит еще более обострился. — Кузич, ты у меня мудрый человек, за что я тебя люблю и уважаю. Правильно сориентировался. Ну, вот заерепенься ты? И что?! Разуделали бы тебя под орех, ни в одну скорлупку не собрали бы. Слышь, что Сергеевна сказывала? Приходила проведать давеча. В районе одного мужика на своем же огороде закололи вилами. И найти не могут — кто!

«Сейчас это запросто» — подумал Кузьма Кузьмич, вспомнив парней при первом знакомстве, и то тоскливое чувство одиночества и бессилия перед ними. И почему-то не сами парни стояли перед глазами, а чудовище, оскаленное, с острыми зубами, нелепо сидевшее на майке одного из них.

— Нужна была бы мне такая картошка. Плюнь! И не жалея. Может, еще больше заплатил бы, если бы нанимал машину? Счас цены-то... Ладно, больше пропало, — успокаивала мужа Вера Карповна.

И все же жалко было те три мешка. Даже, пожалуй, нет, не так жалко, как досадно. Не скажешь, что впрямую обворовали, и в то же время без спросу, нахально и с моралью. Вроде и обидеться не за что, и в то же время как какая-то насмешка. Тьфу! Тьфу на вас!..

Кузьма Кузьмич сквозь зубы потянул в себя воздух с шумом, заглушая вновь подпирающий смехок.

— Что, припекла? — всполошилась Карповна.

— Да нет... так...

А мозг точили раздражение и досада на себя, на свою трусость (может мудрость?), злость на этих бекарасов, и в то же время это была не злость, а что-то другое, что вызывало иронию, сарказм, смех. Как будто бы какой-то мохнатый жучок вполз в сознание, и теперь щекотал, зудел, и теперь этот зуд внутри и припекающее тепло на спине все более проникали вовнутрь, раззадоривали.

Дед стал подкрякивать, подкашливать, втягивать воздух сквозь стиснутые зубы. И, наконец, затрясся в неудержимом хохоте, похожем на стон.

Со спины скатились кирпичи.

— Што, прижарила-таки, да? — Вера Карповна засуетилась вокруг него, подхватывая кирпичи тряпкой. — Да что с тобой? Плачешь что ли, Кузич?

«Ржу-у!..»

Кузя Кузич ей ничего не ответил. Он зарылся лицом в подушку, пытаясь заглушить в себе то идиотское чувство, выдавившее из него не только хохот, но и слезы, которые стыдно было показать; слезы, смешанные с отчаянием, беззащитностью, страхом и с позором. Тьфу, тьфу на вас, нечистая сила! Чтoб вас...

Вот жизнь пошла — цирк!

Завтра же надо докопать картошку!



**Геннадий Маркин**  
(г. Щекино)



## **ОПЕЧАТКА**

В Арбитражном суде Упской области все было готово для слушания очередного судебного дела. На этот раз рассматривался иск, поданный городской газетой «Околото» к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Упской области о признании незаконным и отмене наложенного на газету штрафа в размере шестидесяти тысяч рублей за публикацию на ее страницах нецензурного слова.

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов тридцатилетний Капитон Иванович Капитанов в зал судебного заседания вошел последним и плотно прикрыл за собой дверь. «Уважаемые участники судебного процесса в соответствии с существующим законодательством и установленными правилами поведения в суде стороны могут обратиться к суду или друг к другу только с разрешения председательствующего на процессе судьи. Неуважительное отношение к суду, нетактичное поведение к другим участникам судебного процесса или гражданам не разрешается. Не допускаются и выкрики с мест. Также запрещено во время судебного заседания пользоваться услугами сотовой или иной связи в связи с чем, прошу всех отключить личные мобильные телефонные аппараты. При несоблюдении установленных правил поведения в суде виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности», — в который раз привычно произнес Капитонов выученную наизусть речь, после того, как судья объявил о начале слушания дела. Негромкий голос судьи, мягкий шелест переворачиваемых им листов, жаркое полуденное солнце за окном и самое главное законопослушное поведение участников судебного процесса настолько успокоили внутреннее состояние Капитонова, что спустя несколько минут, он начал мечтать о том, как после работы проведет остаток дня на городском пляже, где с удовольствием смочит себя прилипшую к телу разгоряченную судебную обстановку. Капитон даже на какое-то мгновение ощутил на себе приятное прикосновение речной воды, когда в этот самый момент его слух уловил произнесенное судьей нецензурное слово. Вначале Капитон решил, что ему это слово послышалось, но судья вновь повторил бранное выражение и Капитон, мысленно возвратившись с городского пляжа в душный зал судебного заседания, стал прислушиваться к словам судьи. Вскоре к своему изумлению он убедился в том, что из уст стоявшего под развернутым флагом российского государства стройного и с военной выправкой судьи периодически исходила словесная скверна. Кое-кто из находившихся в зале людей тактично потупил свои взгляды в пол, другие же наоборот стали насмешливо и злорадно смотреть на Капитонова, как бы спрашивая его взглядом: ну, а теперь-то ты как поступишь? И лишь молоденькая секретарь Леночка с безразличием продолжала постукивать пальчиками по клавиатуре, но опытный взгляд Капитона заметил, как ее лицо, шея и даже ушки приобрели цвет свежего и не разбавленного сметаной украинского свекольного борща.

Огласив имевшиеся в деле документы, судья замолчал на некоторое время, кашлянул в кулак, словно прочищая заляпанные бранью голосовые связки, а затем задрал мантию и извлек из кармана брюк носовой платок. Вытер им вспотевшую небольшую лобную залысину, чисто выбритый волевой подбородок, пригладил аккуратные небольшие усики, а затем, поправив на переносице очки в позолоченной оправе, предоставил слово участникам судебного процесса: истцу — главному редактору городской газеты «Околоток» Нине Ивановне Невеселой и ответчику начальнику юридического отдела антимонопольной службы Александру Александровичу Безвинному.

\* \* \*

От безжалостной жары Упск тонул в витающем над городом мареве. Главред Невеселая сидела за своим рабочим столом заваленным кипой бумаг и вносила дополнения и изменения в пилотный номер газеты, когда в ее кабинет вошел посетитель — молодой здоровяк, одетый в светлую майку и шорты и коричневые на босу ногу сандалии. На его мощной шее красовалась толстая золотая цепочка, на остриженной наголо беззатылочной голове, в области темени, уставившись в потолок своими темными стекляшками, покоились солнцезащитные очки.

— Я к вам, Нина Ивановна,— озираясь по сторонам, словно чего-то опасаясь, проговорил он.

— Слушаю,— с трудом оторвавшись от работы, произнесла Невеселая и внимательно взглянула на посетителя.

— Я вам принес для публикации как бы рекламу,— сказал вошедший и протянул Нине Ивановне лист бумаги.

Она нехотя взяла протянутый ей лист и быстро пробежала взглядом написанное: «Новая фармацевтическая компания закрытого типа ЗАО «Кожа и кости» предлагает всем толстякам и толстушкам свою новую признанную во всем мире продукцию: препарат для похудения и сексуальности под названием — «Жирогон»».

— А вы, собственно, кто будете? — оторвавшись от чтения и положив бумажный лист прямо на переполненную окурками пепельницу,— спросила Невеселая.

— Я как бы менеджер компании по рекламе,— ответил посетитель, сделав в слове «менеджер» ударение на вторую букву «е».

— И что вам нужно? — спросила Нина Ивановна, непроизвольно взглянув на выпирающий из-под светлой майки толстый живот менеджера.

— Мы хотели бы в вашей газете дать объявление о нашем препарате, вернее его как бы прорекламирровать.

— А знаете ли вы, уважаемый менеджер, сколько стоит одна печатная полоса в нашей газете? — спросила у посетителя Нина Ивановна также как и он, сделав в слове «менеджер» ударение на вторую букву «е». — Вы бы для начала ознакомились с нашими расценками, а уже потом решили бы для себя: будете ли пользоваться услугами нашей газеты или не будете? — посоветовала Нина Ивановна.

— Насчет бабла вы не парьтесь, у нас с этим как бы без проблем,— произнес посетитель, бесцеремонно облокотившись о стол главного редактора.

Сорокапятилетняя Нина Ивановна Невеселая главным редактором газеты работала уже более десяти лет и в своем деле считалась профессионалом. Она сразу поняла, что имеет дело с каким-то проходимцем, а прочтя предложенный ей текст, убедилась в своем мнении. Вначале она хотела выставить посетителя за дверь, вспомнив, как на прошедшем недавно совещании в администрации города мэр устроил ей настоящий разнос за напечатанную на страницах газеты рекламу продукции оказавшейся впоследствии некачественной, но подумав о немалом доходе от рекламы, передумала. В смертельной схватке схлестнулись в душе и сознании Нины Ивановны две силы, одна порядочная, защищавшая честь, достоинство и доброе имя газеты и самой Нины

Ивановны, а другая алчная, сулившая ей хорошую денежную прибыль. Победила алчность. «В конце концов, не для себя стараюсь, а для общего дела»,— решила Нина Ивановна и улыбнулась посетителю.

— Ну что же, тогда давайте заключать договор на изготовление и размещение в ближайшем номере нашей газеты вашего рекламного материала. Идите на второй этаж в отдел рекламы и объявлений там наши сотрудники вам подскажут, как это сделать,— проговорила Нина Ивановна и вновь погрузилась в прерванную работу тем самым давая понять посетителю, что разговор окончен, но тот уходить не спешил.— Что-нибудь еще? — спросила она.

— Да. Я это... стихи пишу и хотел вам как главному редактору их предложить как бы для публикации,— проговорил посетитель и, не дожидаясь согласия, начал читать свое стихотворение:

*Толстоморды, толстобрюхи,  
Если вам малы все ваши брюки,  
Вновь поможет влезть в них он,  
Нашей фирмы — «Жирогон».*

— Ну как? — окончив читать, спросил он.

— Нормально,— ответила Нина Ивановна и, улыбнувшись, вновь принялась за свою работу.

— А вот еще один стих...

— Нет, нет,— перебила она его,— у нас там же на втором этаже есть отдел литературы, идите туда.

— Хорошо, я сначала схожу в рекламный отдел, а уж потом как бы в литературный,— кивнул головой посетитель и вышел из кабинета главного редактора...

Страдающая от избыточного веса жительница Упска Ганна Тарасовна Галушко, переваливаясь из стороны в сторону, прошла в сою комнату и, с трудом усевшись в кресло, взяла в руки городскую газету «Околоток».

— Интересно, шо эти брыхуны нам седня новенькага набрыхають,— проговорила она и углубилась в чтение.

Вдруг ее взгляд словно споткнулся о напечатанное в газете слово «похудение». В слове явно отсутствовала буква «д». Ганна Тарасовна несколько раз перечитала это слово, при этом то, приближая газету к глазам, то наоборот отдаляя ее от своего лица. Затем она сняла очки, кряхтя и охая, поднялась с кресла и, подойдя к шкафу, взяла лупу. В увеличенном в несколько раз слове «похудение» действительно отсутствовала буква «д».

— Жанночка, дитятко, гайда до мени,— позвала она свою пятнадцатилетнюю внучку.

— Чего тебе? — недовольно спросила та, войдя в комнату и не переставая жевать жвачку.

— Иды сюды, дитятко, и глянь: шо тут написано? По-моему нема буквы «д»? — спросила Ганна Тарасовна, протягивая внучке газету и указывая ей, где именно нужно прочесть.— Или твоя старая Галушко уже совсем ослепилась?

Прочтя объявление, Жанна вдруг резко оживилась, и в ее глазах вспыхнули веселые и озорные огоньки.

— Вау! Клево! — воскликнула она.— Бабуль, дай мне эту газету! Прикинь, я такая приду в школу и пацанам покажу, пусть поприкальваются!

— А ну, геть отсель, а то шас взамен етой газеты ты у мени получишь по заду хворостыною! — с возмущением в голосе прикрикнула на внучку Ганна Тарасовна.— Попрыкальвается она! Я тобі попрыкальваюсь! Читаешь тут разное паскудство! Геть отсель! — приказала она Жанне и та, обидевшись, вышла из комнаты.— Так

ети газетные брыхуны шо такое решили, попрыкальваться над нами, над читателями, а можа даже и над усим городом?! — с возмущением в голосе, спросила она саму себя.— Ну, я им попрыкальваюсь! Я-то им лохмы да чубы повидираю! Я до самого губернатора дойду, но етих паскудников на чисту воду виведу!

В Управлении антимонопольной службы, куда Галушко пришла с жалобой, долго и настойчиво пытались успокоить возбужденную посетительницу.

— Да вы успокойтесь, гражданочка, вы нас проинформировали, а мы во всем разберемся и вам сообщим результат,— говорил ей начальник юридического отдела Александр Александрович Безвинный.

— Та шо ви мени успокойтесь! Яко тута успокоение, кодыж такое происходится?! Кодыж такое творится?! Ети хамлюги уже до того стали срамниками, шо пышут то, шо взбрдет в их башку. Прямо-таки брать за то мисто о чем они тута понаписали и прямиком у тюрягу,— продолжала возмущаться громогласная Галушко, потрясая при этом зажатой в руке газетой...

\* \* \*

Выслушав участников судебного процесса, суд, для разьяснения возникших при рассмотрении дела вопросов требующих специальных знаний вызвал эксперта-лингвиста, перед которым поставил вопрос: является ли используемое в рекламном макете слово «похудение» с отсутствием в нем буквы «д» бранным?

Заслуженный деятель науки, доктор филологических и исторических наук, исследователь берестяных грамот и древних текстов, профессор кафедры лингвистики Упского государственного университета, философ, член российской академии наук и различных редакционных коллегий восьмидесятипятилетний Иннокентий Бориславович Забугорный в Упской областной Гильдии лингвистов — экспертов по документационным и информационным спорам считался одним из наиболее опытных сотрудников. Пройдя в зал заседания нетвердой слегка шатающейся походкой, он остановился перед судьей и, достав из папки лист бумаги, принялся читать написанный на нем текст.

—Э-э-э, согласно экспертному заключению гильдии лингвистов — экспертов используемое в рекламном макете написанное слово «похудение» с пропуском в нем буквы «д», следует рассматривать м-м-м — э-э-э как опечатку,— начал он говорить тихим старческим голосом иногда долго и нудно затягивая перед словами гласную букву «э» и согласную «м».— В контексте предложения слово э-э-э «похудение» с пропуском в нем буквы «д», какого-либо смысла кроме э-э-э ассоциируемого со значением слова «похудение» данное написание не имеет. В словарях русской брани, э-э-э большом словаре мата, м-м-м слово «похудение» с отсутствием в нем буквы «д» в качестве э-э-э деривата от какого-либо бранного или неприличного слова, например, «худо» м-м-м, не зафиксировано.

Вновь услышав нецензурное слово, но теперь уже из уст эксперта — лингвиста, Капитон Иванович взглянул на него недобрый взглядом, покряхтел и поерзал на стуле. Никогда прежде он не оказывался в такой нелепой ситуации, когда на судебном процессе кто-либо из его участников выражался матерно, а он не имел права даже сделать сквернослову замечание, оставалось только одно — терпеть это безобразие и, стиснув зубы, молчать.

— Не являясь лексической единицей языка и не имея возможности словообразования без соответствующей модели от существительного э-э-э — м-м-м слова «худо», а также при отсутствии надлежащего э-э-э лексико — семантического прототипа, написание слова «похудение» с отсутствием буквы «д» в контексте рекламного макета не может рассматриваться в качестве э-э-э — м-м-м obscenизма, то есть бранным не является,— закончил свою речь эксперт.

Выслушав эксперта, судья удалился на совещание и через несколько минут вновь занял место председательствующего.

— Суд принимает представленное экспертное заключение как надлежащее доказательство, подтверждающее, что используемое в рекламном макете слово «похудение» с отсутствием в нем буквы «д» не является бранным. Исходя из обстоятельств дела, принимая во внимание заключения эксперта, суд приходит к выводу, что газета «Околоток» в рекламном макете бранного слова не использовала и соответственно не допустила нарушения о рекламе. Таким образом, оснований для привлечения газеты «Околоток» к административной ответственности у органа антимонопольной службы не имелось. С учетом изложенного руководствуясь Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, арбитражный суд решил: заявление газеты «Околоток» удовлетворить. Постановление Управления Федеральной антимонопольной службы о наложении на газету «Околоток» штрафа, признать незаконным и отменить. Взыскать с антимонопольной службы в пользу газеты «Околоток» и судебные расходы денежные средства в сумме шестнадцать тысяч пятьсот рублей. На решение может быть подана апелляционная жалоба в десятидневный срок со дня его принятия, — закончил зачитывать вынесенный вердикт судья и, как бы ставя точку в этом деле, громко стукнул деревянным молотком по плашке.

Участники судебного процесса молчали. Первой пришла в себя Ганна Тарасовна Галушко.

— Это шо же таки получается?! Одни добри люди штрафуют злостных матерников, а суд их оправдывает и к тому же штрафует добрых людей?! — громко и с волнением в голосе, произнесла она, тяжело и грузно поднимаясь со стула. — Да иде же то видать такое было, шобы вот так — на тебе и все ж ты?! Ну, я вам не какая-нибудь профурсетка, я вам ишо покажу як чистное имя добрых людей срамить. Я же до самого Президента дойду, а этих матерников на чисту воду виведу, — подытожила Ганна Тарасовна и погрозила непонятно кому кулаком.

— Судебное заседание закончено, просьба всем освободить помещение, — проговорил Капитон Иванович, пресекая монолог Ганны Тарасовны.

После того как все вышли он обошел и внимательно осмотрел зал судебного заседания — не забыл ли кто свои личные вещи — и, убедившись, что все в порядке, подошел к окну. На улице стояли Нина Ивановна Невеселая, Александр Александрович Безвинный и Ганна Тарасовна Галушко. Они ругались и размахивали при этом руками. «А ведь все образованные и культурные люди, а убери от них мужика с дубинкой, так готовы друг другу в горло вцепиться. Ведь нельзя же так, господа хорошие! Неправильно это!» — глядя на них, грустно подумал Капитанов и открыл настежь окно. В помещение вместе с городским шумом ворвался пахнувший летней жарой, сигаретным дымом и выхлопными газами свежий воздух. В Арбитражном суде Упской области все было готово для слушания очередного судебного дела.



**Александр Хадарцев**  
(г. Тула)



## НА БЕЖИНОМ ЛУГЕ

Видавший виды Уазик, чвиркнув колесами по грязи, медленно съехал на мокрую от дождя траву и затормозил. Алексей — коренастый, светлоглазый, лысоватый блондин, вылез из машины, побряхтывая и придерживая рукой поясницу. Выглядел он значительно моложе своих 66 лет, только глубокие складки на лбу выдавали долгий и не простой жизненный путь, пройденный хозяином лица, во время смеха освещавшегося детским сиянием глаз.

«Вылезайте, приехали!» — сказал он спокойно, внимательно оглянувшись вокруг.

От места импровизированной парковки почти на километр протянулись ряды разноцветных торговых палаток и передвижных аттракционов. Сизые дымы от жарившихся на мангалах шашлыков стелились над всем обозримым пространством. То там, то здесь булькали опустошавшиеся пивные бутылки. Повсюду были расставлены белые, синие, красные пластмассовые столики, мельтешила разновозрастная детвора, хихикали молоденькие девчонки, зыряка по сторонам сквозь густо-черные ресницы, взмахивая разукрашенными в синеву веками. Все свидетельствовало о начавшемся празднике, который в июле всегда проводился в этих местах. На склонах длинного холма, круто спускавшегося к огромному лугу, окаймленному с противоположной стороны кучеряво-зелеными кронами деревьев, прикрывающими собой журчащую на перекатах реку, — были установлены ряды скамеек, которых, конечно, не хватало на тысячи приехавших гостей. В хорошую погоду зрители и участники торжества обычно располагались прямо на траве, подстелив под себя — что попало. Когда-то для этой цели использовали небольшие тючки прессованного сена, но в последние годы — то ли из-за нехватки сена и экономии, то ли по каким другим причинам, гости в плохую погоду вынуждены были стоять долгими часами, хотя редко кто покидал это красивейшее на Руси место раньше полуночи. Тургеневские рассказы на Бежином луге становились зримыми, наполненными судьбами многих поколений, а природа лучше всяких декораций гармонично сосуществовала с праздничным настроением собравшихся. Действо осуществлялось на маленькой сценической площадке, временно возводимой на краю естественного амфитеатра.

Пока Алексей оглядывал кипящее людьми пространство, из распахнувшихся дверок «уазика» вылезли его друзья, наконец-то собравшиеся навестить своего коллегу по случаю наметившихся торжеств. Знакомые более сорока лет, они вместе начинали работать в этих краях, и, разъехавшись, частенько навещали друг друга.

*Алексей до недавних пор работал главным врачом маленькой участковой больницы. Построенная еще до революции, она стояла в окружении фруктового сада, величаво возвышаясь своими двумя этажами над деревенскими домами. В толщине ее стен пролегли многометровой длины дымоходы, обеспечивавшие теплом все помещения. Чрезвычайно экономичная система обогрева нуждалась лишь в поддержа-*

нии, но, в конце концов, была заменена. Заработала привычная котельная. Выпускник крупнейшего московского вуза, Алексей поначалу считал себя временным человеком в этих краях, но, пообвыкнув, не только свыкся, но и сроднился с этой землей. Он не мог просто так уехать от тысяч старых и малых, нуждающихся в его помощи. Десятилетиями никто из врачей не решался приехать в это не такое уж и отдаленное, но глухое место. Поэтому в какой-то степени Алексей ощущал свою незаменимость. Он адаптировал полученные знания и умения к реальным условиям жизни почти заброшенного уголка Нечерноземья. «Заброшенность» — не была надуманной. Жена его волею судьбы какое-то время возглавляла тогда еще совхоз. «Забота» государства привела к тому, что посевные поля в девяностые годы стали зарастать лесной чащобой, техника развалилась, денег на горючее не было, но люди! Только наши люди в годы покорения космоса и нанотехнологий во имя сохранения сельского уклада способны были выходить с лукошками(!) во время посевной на поля и, как в старину, разбрасывать зерно, надеясь на весенние всходы! Менялись общественные устройства, на смену секретарям райкомов пришли главы администраций, но отношение власти к проблемам села нисколько не менялось. Под предлогом укрупнения и «улучшения» медицинской помощи начали повсеместно закрываться участковые больницы, медицинские пункты. Лозунговые призывы к «совершенствованию медицинской помощи селянам» наяву сводились к сокращению врачебных кадров, прекращению или резкому сокращению финансирования, безвозвратной потере опытных врачей и фельдшеров.

Так и Алексей. Освоил электрокардиографию и множество других медицинских лечебных и диагностических манипуляций, при необходимости умел делать простые, но не требующие отлагательства операции, спасая при этом сотни людей от вероятного печального исхода болезней. Словом, состоялся как истинный «земский врач», или, как это теперь стало модным называться — «врач общей практики». На ремонт больнички отпусkaliсь наискуднейшие средства. Поддерживать ее «на плаву» было ежедневной, постоянной, почти невыполнимой задачей. В знак признательности за долготелее служение землякам он был награжден почетным званием «Заслуженный врач России», которым Алексей по праву гордился, удивляясь, однако, непонятым для него отношением местных чиновников к нуждам сельской медицины. Ни это звание, ни десятилетия подвижнического врачебного труда, ни уважение и авторитет среди населения не помогли Алексею, когда волевым решением местного князька он был, в конце концов, отправлен на пенсию, а больница превратилась в амбулаторию и продолжала влечить свое жалкое существование.

Только что обрушившийся с небес проливной дождь превратил тропинки в скользкое месиво, глубоко пропитал жесткий дерн, сделав невозможным уютное расположение зрителей и участников праздника. По небу еще кучились серо-черные тучи, но их подолы уже золотились в лучах вспыхнувшего солнца. Две огромные — от горизонта до горизонта радуги, как природное благословение, зависли над лугом. Воздух стал сырым и холодным, при малейшем ветерке вызывая зябкую дрожь, для устранения которой, вероятно, на развернутых лотках и в киосках расположились в ожидании потребителей разнообразные горячительные напитки.

Алексей не употреблял спиртного уже более тридцати лет. «Виной» тому была перенесенная в институтские годы инфекционная желтуха, болезнь Боткина. Когда-то занимавшийся классической борьбой, в первые годы работы он еще изредка позволял себе пропустить стопку, другую. Но потом совершенно прекратил. Курить — не курил. Был любимцем многих медсестер, желавших «окрутить» симпатичного врача. Большой выбор рождает большие проблемы. В ту деревню, в которой он начинал свою врачебную деятельность, частенько приезжали на санях медсестры и врачи из района. Он был хлебосолен и гостеприимен, притягивая окружаю-



*щих также и своим «столичным» прошлым. Деревянная, скрипевшая при сильном ветре больничка, как бы держалась на балке, подпиравшей потолок. Казалось, удар по ней, и домишко развалится. Но включался по тем временам редкий магнитофон, раскручивались бобины, и хриплый пронзительный голос тогда еще малоизвестного Высоцкого тербил душу. Полублатные песни были записаны самим Алексеем во время посещения певцом студенческого общежития. И все-таки через много лет судьба в лице искроглазой модной девчушки, работавшей рентгенотехником, сделала его отцом семейства. Уже и дети выросли, стали тоже врачами, и страна изменилась до неузнаваемости: в чем-то к лучшему, в чем-то к худшему, но воспоминания о минувшем хранились где-то в дальних закоулках памяти.*

Посидев еще с часок, перехватив подгоревших, но сочных шашлыков, гости забирались домой. На ночное представление, сценарий которого уже был известен, оставаться им не хотелось. Сырость и прохладный ветер затяжным посиделкам также не способствовали. Но перед отъездом не грех было бы поднять символический бокал «на посошок», о чем Алексей предупредил отбывающих друзей. Оказавшись через несколько минут в уютном теплом доме, отведав наваристой лапши с белыми грибами и еще много разных деревенских простых и вкусных, давно забытых, яств, желание тронуться в путь стало ослабевать. Тем не менее, через полчаса все погрузились в старенькую «Волгу», отдавшую прощальный салют клубком сизого дыма, выплюнутого из выхлопной трубы...

Алексей стоял у калитки, провожая удаляющуюся молодость. «Непонятно, зачем приезжали!? И действие на Бежином луге не посмотрели, и в доме мало посидели. Городские, одним словом. Куда-то торопятся, основательно ничего не делают. Разве что просто повидаться?» Но почему-то мучавшие его накануне боли в области печени стихли, настроение улучшилось, в голове закопошились философские мысли о реальном и ирреальном, о соотношении бытия и сознания. Жизнь показалась не такой уж грустной и имеющей перспективу. Он облегченно вздохнул и приступил к обычному для этого времени кормлению многочисленных кур.

